



International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#93

Альманах Крещатик № 93 (2021)

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66261734
Крещатик № 93 (2021): Алетейя; СПб.; 2021

Аннотация

Журнал «Крещатик» – интернациональный литературный журнал. Издается с 1998 года. Традиционное содержание номера: проза, поэзия, критика, эссе, рецензии. Периодичность – 4 номера в год.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Феликс Чечик /Натания/	6
Темперирован клавир	6
Урок французского	16
1991	18
Мирон Карыбаев /Алматы/	24
Муха на фреске	25
Часть I	25
1	25
2	30
3	39
4	45
5	49
6	56
7	61
Часть II	64
1	64
2	73
3	80
4	87
5	91
6	98
Александр Кабанов /Киев/	108
Кистепёрая птица судьбы	109

Дмитрий Драгилёв /Берлин/	118
Убегая от фавна[16]	119
Катя Капович /Нью-Йорк/	149
Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа	154
Жизнь моего друга	156
Воспоминание	158
Счастье	159
Сергей Королёв /Аугсбург/	165
Четвёртый архив	166
I	166
II	171
III	190
Конец ознакомительного фрагмента.	195

Альманах

Крещатик № 93 (2021)

© Крещатик, 2021 г.

© Издательство «Алетейя», 2021 г.



Феликс Чечик /Натания/



Темперирован клавир

* * *

На глазах у недобитка
по стене ползёт улитка,
день и ночь ползёт она —

не закончится стена.

Наблюдать не надоело
столько зим и столько лет,
тело мокрое, и дела
соответствующий след?

Средоточие печали,
средоточие обид,
пожимаю я плечами
оттого, что недобит.

А усатое желе
вверх ползёт, читая требу,
не скучая по земле
и соскучившись по небу.

* * *

Поклонимся осенним веткам,
начав предстартовый отсчёт,
когда потомок станет предком
и время дальше потечёт.

Прощайте, тополя и клёны,
бессмертье пьющие из луж,

ответно бьющие поклоны
за неимением баклуш.

Прощайте, не будите лихо,
покуда тихо и светло
и безуспешная шумиха
очей не закоптит стекло.

Мы без обиды друг на друга,
как в телескопы поглядим,
пока не закружила вьюга
белее страха и седин.

Прости-прощай! Мы были вместе
и расстаёмся навсегда, —
всё растеряли, кроме чести,
как свет осенняя вода.

Ноябрьский лёд и остр и тонок —
прочнее, чем столетний дот.
И не родившийся потомок,
как предок по нему идёт.

* * *

Тому, кто насеком

и зелен, словно медь,
дай, хоть одним глазком,
на время посмотреть.
Оно летит, как свет,
а, может быть, быстрее —
вопросом на ответ
сквозь сети рыбаей.
Лови его, свищи
его – напрасный труд:
летит, как из пращи,
страшней, чем самосуд.
Одним глазком взглянуть
позволь в дверной глазок
на бесконечный путь
и млечный водосток.
Пусть тонким голоском
заголосит навзрыд
о том, что насеком
и вечен, как подвид.

* * *

Редкий лист, не долетая до земли,
улетает навсегда – куда подальше.
Листопад мои печали утоли
песней осени без музыки и фальши.

Лист попроще жёлтой рощи посреди,
не раздумывая, упадёт под ноги.
Дебет с кредитом несчётные сведи,
подведи под монастырь свои итоги.

Монастырская стена – укрепрайон, —
ни страшны ему ни охи и ни ахи:
свет берёзовый во тьме со всех сторон
и вороны на берёзах, как монахи.

Прикоснулся, причастился и айда!
Причастился, прикоснулся и довольно!
То не слёзы – то осенняя вода.
И ни капельки – ни горько и ни больно.

* * *

И сума, и тюрьма, и себе на уме.
Вологодской финифтью да по хохломе,
обезумев от «скрежета-дрожи»...
Всё равно нет родней и дороже.

Есть другие – прекрасные, – лучше, чем, но:
мы читали одно и смотрели одно
и любви невозможной алкали:

в Пинске вешнем, в степном Забайкалье.

Никому не истцы и ответчики всем —
мы годимся в отцы тем, кто пал в 37.
Что ж, обнимемся – сестры и братья,
размыкая медвежьи объятия.

Посидим, помолчим, погорюем о том,
что от света лучин загорелся наш дом
и помянем – поминок почище —
чаепитием на пепелище.

* * *

Лишь на себя пеняли,
что задолжали всем
и жили, как в пенале
карандаши 6М.

Лежали – тихо-тихо,
тупые, как на грех,
и не будили лихо:
шумиху и успех.

Совсем, как в клетке птица,
от счастья вдалеке,

чтоб вскоре очутиться
у Рембрандта в руке.

* * *

И летает, и плавает, – это ли не
расчудесное чудо и счастье вдвойне!
Летним утром в конце декабря —
бесконечное «кря».

Ходит селезнем время – прикид хоть куда!
Но лете́йская не отражает вода, —
отражается вечность-химера
самкой – сиро и серо.

* * *

он вышел вон на все четыре
чтоб не вернуться никогда
но что он знал о внешнем мире
мелькали веси города
он вышел весь в сухом остатке
воспоминания одни
и с будущим играя в прятки

как поезда летели дни
он сел на поезд подстаканник
стучал в ночи как метроном
и месяц полуночный странник
как в речке отражался в нём
лети лети лети не зная
любви-печали не держись
твоя закончилась земная
и внеземная скоро жизнь
наступит даже лучше прежней
молчи скрывайся и таи
и этот воздух воздух внешний
наполнит лёгкие твои
Не опечатка, не описка:
предновогодней незимой
я получил письмо из Пинска,
где мне заказан путь домой.
В придачу – скатерть и дорожка
и тьма, глядящая врагом...
И память детства, будто кошка,
всё ходит по цепи кругом:
идёт направо – видит Пину,
налево – страх и вороньё,
и тьма ночная дышит в спину,
и не укрыться от неё.
И вдруг – внезапно, как ни странно,
среди заснеженных полей:
взошла звезда, запела Анна,
и сердцу стало веселей.

* * *

Докурю я последний чинарик
и последнюю рюмку допью.
И Венеру включу, как фонарик,
осветившую жизнь не мою.

Что ж, свети, – пусть не мне, но другому;
и пускай навсегда молодой
не тоскует по отчему дому
под моей путеводной звездой.

* * *

Мера бывает разной, но чаще – крайней.
Верил, но не боялся и не просил.
И выпрямлялся согнутый рог бараний,
но тем не менее тикал watch-упарсин.

Правый пологий берег крутым сменялся,
лесом непроходимым сменялся сквер,
но не сдавался; и получалось масло, —
символ возни мышиною и полумер.

Как бы там ни было – с голоду ты не помер.
Номер 16? Что ж и на том мерси!
Слышишь, как надывается колокол-зуммер?
На небо глядя, молвишь: – Иже еси..?

Не сомневайся – есть! Значит в полной мере
всё, что тебе положено – не твоё.
В речке купаясь или гуляя в сквере —
пей, не спеша, из горлышка забытьё.

Урок французского

А. М.

Будто дёснами хлебную корку жую,
доживая свой век.

Се ля ви, говоришь, говоришь, дежа вю
тишиной из-под век.

Что ж, финита? Адъё? Оливье. Винегрет.
Незатейливый трюк!

Столько зим говорю, говорю столько лет:
табуретка и крюк.

А ля гер, говоришь и камси, говоришь,
тет-а-тет, о-ля-ля.

Невесёлая старость, июньский Париж
и чужая земля.

Навсегда не лямур и пердю навсегда,
никогда комильфо.

И не Сена за окнами – Леты вода
и вокруг – никого.

Шаромыжником стал милый друг. Пуркуа?
Почему бы и нет!

И полночная вспать утекает река
и луна, как омлет.



Грациозны, чисты, бесподобны, зигзагообразны,
как две капли воды друг на друга похожи они.
Эти белые цапли в тиши декабря не напрасны,
а скорей распрекрасны, как предновогодние дни.

Не белым, но бело! Значит набело жизнь перепишем,
черновик уничтожим и не пожалеем о нём.
И побудем на свете пречистом – не третьим и лишним,
а потом на закате с тобой грациозно уснём.

Мы чокнулись! И дальше – больше:
Брест растворяется вдали
и острые костёлы Польши
плывут, как в море корабли.

Нам дела нет до проводницы
и строгих окриков её:
пока благоволила литься,
пока впадали в забытьё.

И скатертью не самобранкой
текла дорожка до небес.
И подстаканники морзянкой
отстукивали МПС.

От пьяной песни, как от мата,
мы не могли забыться сном,
покуда дымная громада
не появилась за окном:

идём – куда, не зная сами,
счастливые, не помня зла, —
и очутились в кёльнской яме...

А лошадь по небу плыла.

* * *

Ю. Н.

Пламя розового масла
и цветенья мандарин
мы – за то, что не погасло —
мысленно благодарим.

Согревало больше меры,
обжигало до кости,
навсегда лишая веры
в Бога, Господи, прости!

Мы ни капли не в обиде,
а совсем наоборот —
радуемся, как при виде
урожая недород.

Обладатели ремёсел
и таланты пустоты, —
мы без цитрусовых масел
жить не можем – я да ты.

Так, давай подыдем кружки,
и не с горя – от любви, —

две старинные подружки
загуляем на свои.

Потому что – Александр,
потому что – навсегда,
потому что светит рядом
Царскосельская звезда.

* * *

Я не прощу эпохе,
укравшей жизнь мою.
И замолчу на вдохе
и выдох утаю.
Ни хорошо, ни плохо
вернуться вдруг домой,
где слушает эпоха
прощальный выдох мой.

* * *

Мы не были детьми, – мы сразу
состарились, бессмертье зля.
И, как пломбир, лизали фазу

и обходились без нуля.

Мы были трепетнее лани
с мотором пламенным в груди.
Мы стали полными нулями
бесполой жизни посреди.

Когда мы жили понарошку,
когда мы жили не всерьёз,
мы время гладили, что кошку
и доводили жизнь до слёз.

Нам эти слёзы отольются
и станут пулями они,
когда мы будем пить из блюда
свои оставшиеся дни.

* * *

В Тель-Авиве, мой друг, в Нарьян-Маре
составляем единый народ:
утром запах Ивана-да-Марьи,
ближе к полночи – наоборот.
Мы едины, мой друг, мы едины, —
хочешь ты или нет,
и поэтому непобедимы,

излучая невидимый свет.
И пускай мы с тобой не знакомы,
но зато мы с тобой не враги,
не ослепшие от глаукомы,
потерявшие зрение от зги.
Темень-тьмушая – свет лучезарный
двести лет, – даже больше уже:
пионерлагеря и казармы
породнили на вечной меже.
И когда улетим восвояси
от роскоsmосов прочь и от нас —
с мирозданием налаживать связи
будет некому после нас.
Так, давай на дорожку присядем
ароматные травы курия,
не считая ранений и ссадин,
вопреки, а не благодаря.

* * *

Не могу сказать, чтоб очень
темперирован клавиp:
день октябрьский обесточен,
небосвод убог и сир.

Замолчавшие от страха,

неизвестностью живя,
мокнут птицы, и от Баха,
как от ливня, вымок я.

Что-то дуб поёт, как спьяну
и, как спьяну, шепчет клён:
Иоганну Себастьяну
лесопарковый поклон.

Темперированный кое-
как, а осенью вдвойне,
я мечтаю о покое
и январской тишине.

Что-то я разволновался
и пускаю пузыри...
Ну-ка, сердце, в темпе вальса:
три-четыре, раз-два-три!

Мирон Карыбаев /Алматы/



Муха на фреске

Часть I

*Из города в город,
Адрес: родные сердца.
Порой теряя опору,
Никогда не теряя лица.*

*Ты даёшь людям шанс
Сказать себе «я живой!»
Довольно странный способ жить жизнь,
Но он твой.*

Кирилл Комаров, «Способ жить жизнь»

1

Константин Хан болел два раза в год.

В первый раз – во время крещенских морозов, когда влажный алма-атинский воздух промерзал до минус двадцати, а в Сайранском водохранилище прорубали иордань. В купель он окунаться не рисковал, но облиться холодной водой в ванной считал нужным. После этого неизменно слегал с простудой.

Во второй раз – в августе, когда очередной ливень прино-

сил с собой не летнюю освежающую прохладу, не радость, не раздражение, но странную необъятную тоску, осознание скорого наступления осени. В такой день Хан выходил на улицу и бродил по городу, размышляя о бренности бытия, наступая на желтеющие листья, тщетно борясь с желанием напиться. Промокал до нитки и на следующий день вставал с температурой.

В то утро Константин проснулся раньше обычного, на самом рассвете, с больной головой и слезящимися глазами. Лечился водкой, поглядывая в окно на кубово-синее небо. К вечеру водка кончилась, и он уснул.

Открыл глаза и долго смотрел в обшарпанный потолок. Солнце светило в глаза, понукая встать, умыться, побриться, перестелить пропотевшее бельё и начинать новый день.

Сил хватило только на умывание. Опираясь на раковину и поглядывая на своё испитое лицо в зеркале, Хан понимал, что чувствует себя лучше, чем вчера. Температура вроде бы спала, ноги не подгибались, горло не болело.

Только очень хотелось пить. И именно жажда заставила его одеться, привести себя в порядок и выйти из дома.

* * *

Колокола отбили полдень. Константин Хан стоял за воротами и смотрел на церковь. Обводил взглядом изгибы ступенчатых арок, до рези в глазах всматривался в блики на-

чищенных куполов, разглядывал проволокой закреплённый крест, внимательно наблюдал за поведением прихожан. Запоминал всё: темп шагов, выражение лиц, мельчайшее дуновение ветерка, сигналы машин за спиной.

Из дверей церковной лавки вышла женщина одухотворённого вида, на ходу складывая покупки в сумку. Загодя подготовила горсть мелочи, с улыбкой ссыпала её в ладонь попрошайки. Та рассыпалась в благодарностях, и женщина вышла за ворота.

Ни на Константина, ни на сгорбленную старуху на ступеньках перехода её доброты не хватило. Хан промолчал, а вот горбунья покрыла прихожанку матом и ещё долго верещала гневную бессмыслицу, до тех пор, пока из сторожки не вышел дворник и не пригрозил полицией. Блаженная она была или нет, но угроза сработала. После кистер¹ направился к Хану, размахивая метлой.

– И ты иди отсюда, пьянь!

– Да я же...

– Иди!

Он развернулся и быстрым шагом ретировался. Хотелось пить.

¹ Кистер (кюстер) (нем. Küster – пономарь, лат. custos – дворник, сторож, англ. sacristan – ризничий) – церковнослужитель-завхоз.

Пачка сигарет легла на прилавок, вслед за ней звонко звякнула прозрачная чекушка.

– Тоғыз жүз жиырма, – скороговоркой бросила продавщица, худощаваая пожилая казашка.

Костя оторвал взгляд от весело плещущейся водки, перевел на её хмурое лицо.

– Простите, я н-не понимаю, – пальцы заметно дрожали.

Она раздражённо вздохнула и повторила, повысив голос:

– Девятьсот двадцать!

Пять или шесть человек, столпившихся в магазинчике, нервно вздыхали, напряжённо переступали с ноги на ногу, тихо переговаривались. Хан спешно, нервно считал мелочь в ладони. Девятьсот двадцать не выходило никак.

– А с-сколько без с-сигарет? – он снова поднял глаза на кислёющее лицо продавщицы. Лицо это, смуглое и, в общем-то, по-старчески красивое, портило пигментное пятно на левой щеке. Это пятно раздражало чертовски. От него хотелось напиться ещё сильнее.

– Пятьсот шестьдесят.

Она убрала сигареты обратно в стенд. В резких, отрывистых движениях чувствовалось презрительное раздражение.

Он отсчитал деньги, высыпал на прилавок. Продавщица быстрыми движениями пальцев разметала по столу монеты,

быстро сосчитала, выдвинула обратно двадцать тенге.

– Лишнее.

– А-а, – протянул Костя.

В углу, у прозрачной подставки под шоколадки, жвачку и прочее, стояла коробочка для садака². Внутри виднелась горстка мелочи и мятая купюра в пятьсот тенге. Нестриженными ногтями он подцепил монету, дрожащими пальцами попытался сунуть в прорезь. Двадцатка выпала и зазвенела по полу.

В очереди кашлянули. Спиной чувствуя взгляды, он наклонился, стал искать на потёртом кафеле монету. В горле пересохло.

Её поднял какой-то волосатый юноша, ловко закинул в коробку. Поймал извиняющийся взгляд Хана, кивнул, прошёл к прилавку. Очередь облегчённо вздохнула и пришла в движение.

Константин схватил чекушку, прошёл пять шагов до двери, борясь с жаждой. Зазвенели колокольчики. Он спустился по лестнице, сделал два шага в сторону и сорвался. Выкрутил пробку, жадно присосался к горлышку. Холодная жидкость обдала жаром щёки, спустилась по горлу, потекла сверкающими ручейками из краёв рта. Только когда опустошил всю бутылку, залив водкой грудь и ворот рубашки, оторвался, выдохнул, задышал тяжело. Внутренний жар жёг лицо.

Кто-то стоял сбоку и смотрел на него. Костя обернулся,

² Садака – мусульманское добровольное пожертвование.

хотел уже нагрубить зевাকে, но узнал давешнего юношу. Ему грубить было как-то неловко, и Хан весь внутренне сжался.

– Чего... чего тебе?

Мир стремительно размывался.

– Вот ваши сигареты.

– А?

Благодетель протягивал ему пачку сигарет, ту самую, на которую ему не хватило денег. Хан смотрел на неё тупо, с липким по дозреньем внутри, потом осторожно протянул руку и взял пачку. Незнакомец улыбнулся простодушной улыбкой, задержал взгляд на Хане, будто собираясь что-то сказать.

– Ч-что-то ещё? – осторожно поинтересовался Костя.

– Нет. Ничего. Простите, – незнакомец развернулся и ушёл.

Хан смотрел ему вслед, держа в опущенной руке нераспечатанные сигареты. В другой лежала пустая чекушка из-под водки.

2

«Однажды в погожий весенний день Малик повстречал на дороге нищего. Нищий являл собою ужасающий вид, ведь запах его одежд ужасал обоняние, от вида грязных босых его ног слезились глаза, от звуков жалобного его голоса болело сердце. Малик не испугался, не отпугнула его отвратитель-

ная вонь, не покорёжил тонкого слуха голос оборванца. Наш герой шагнул к босяку, протянул свою загорелую, крепкую ладонь.

– Вставай, брат. Возрадуйся, ибо кончились твои бедствия!»

Бродяга вставил пропущенную букву и снова полулёг на спинку кресла. Текст он правил уже четыре часа, и ещё четыре оставалось до истечения времени. Ночной тариф в компьютерных клубах, может, и был вреден для здоровья, зато выгоден для кошелька. Он, впрочем, не жаловался. И жить вечно не собирался.

«– Как же я встану, добрый незнакомец? – вопрошал нищий, задирая штанины. – Ведь встать я никак не могу.

Действительно, страшная картина открылась глазам Малика. Сиреневые язвы покрывали ноги попрошайки, и стекал из них вязкий желтоватый гной.

Но Малик не испугался, ибо пугаться не умел. Открыл он свою походную сумку и вытащил из неё пузырёк с жидкостью целебной, пожалованный ему шахом Торезмийским.

– Выпей это, брат. Я привез это лекарство из далёкой страны, оно поможет тебе.

– Не могу я этого сделать, добрый человек. Не стою я, жалкий червь, такой благодати.

Малик Странник не растерялся. Взяв оборванца за горло, он силой влил ему в рот содержимое склянки – всё, до капли. И случилось чудо – раны его зажили, будто и не было

их никогда. Нищий, увидев это, встал и от радости заплясал, запел. Как же он пел! Не хуже соловья, надо заметить. Скоро послушать его собралась целая толпа. И посыпались к ногам бывшего попрошайки медяки и золотые, а тот всё заливался, прославляя чудо, прославляя доброго странника и саму жизнь.

Малик Странник улыбнулся, накинул на голову капюшон и скрылся в толпе. Опустевшую склянку он выбросил в кусты, ни разу не пожалевав. Чудо-лекарство из далекой страны лечило все болезни, поднимало с постели умирающих, даровало зрение слепым и забирало боль у страждущих. Торезмийский шах пожаловал его Малику за раскрытие преступного сговора у дворце. Торезмийский шах не ведал, что Малик Странник не болел никогда в своей жизни».

Ночь была прохладна и освещена фонарями. Бродяга стоял поодаль от курящих неподалёку парней, смотрел на тусклые городские звёзды и вспоминал.

Вспоминал, как давно и далеко, в начале своего пути, встречал в переходе бродячего музыканта. Пел он... чёрт, что же он пел?

А, точно.

С каждым шагом – всё дальше и дальше от выбранной цели,

И ошибки мои всё мудрей и всё красивей.

Сохрани Господь всех тех, кто в сердце моём укрыться успели,

А точнее – пронеси их Хаос мимо камней³.

Бродяга уже был достаточно опытен, чтобы различить человека в глубокой нужде. Сказали ему об этом ввалившиеся щёки музыканта, сообщила грязная, не по сезону, одежда, поведала глубокая усталость в хриплом голосе, и, наконец, окончательно убедил лихорадочный блеск опухших глаз.

Он подошёл к певцу, протянул купюру. Крупную. Тот приподнял бровь.

– За какие заслуги? – свысока прохрипел он.

– За просто так, – Бродяга тряхнул рукой. – Берите, вам нужнее.

Он нахмурился.

– За просто так, пацан, деньги не берут. И уж точно не дают.

Бродяга спрятал купюру, скользнул к стене, скривил губы в улыбке.

– Тогда не за просто так. Расскажите какую-нибудь историю. Я собираю материал... для книги.

Музыкант задумался, вытащил из кармана мятую сигарку, сунул в зубы. Долго, безуспешно щёлкал зажигалкой, высекая холостые искры. Бродяга протянул ему свою.

– Хмм... – он глубоко затянулся, вернул зажигалку владельцу. Выдохнул едкий дым. – Ну, раз так, слушай и запоминай. Пили мы однажды с одним моим товарищем...

³ «Вернуться назад», Василий К. & The Kürtens.

– Вот так, – закончил рассказывать дядя Юра, гитарист, авантюрист и непростой судьбы человек. – Вот та-ак.

Упакованная гитара уже давно стояла, прислонённая к стене – сегодня он играть уже не собирался. Бродяга обдумывал услышанное, мямлил в кармане купюру. Ночь была в голову лёгким дурманом.

Музыкант потянулся за очередной сигаретой, но обнаружил пачку пустой. Почесал затылок.

– Я за куревом, – бросил он. – А ты здесь подожди, я скоро приду.

Зачем-то он взял с собой гитару. Бродяга, впрочем, не обратил на это внимания. Он вытащил блокнот и записывал в него историю.

Дядя Юра не пришёл скоро. Когда Бродяга кончил записывать, он сунул руку в карман и понял, что дядя Юра не придёт вообще.

Бродяга усмехнулся и вернулся обратно в настоящее. Стыдно вспоминать, как наивен он был тогда, как запаниковал, как нервничал... Впрочем, нет, уже не стыдно. Сейчас уже просто смешно.

Он глубоко вдохнул, выдохнул, развернулся. Пора было возвращаться к Малику Страннику и его удивительным приключениям.

«Малик Странник прибыл в городок на самой окраине Ве-

ликой пустыни и понял сразу: что-то здесь не так. На лицах жителей нарисована была тяжкая нужда, и страх, и отчаяние. Плакали младенцы на руках матерей, плакали бесслёзно старики, ветер задувал песок во дворы и дома.

— Что за беда у вас, добрые люди? — обратился герой ко всем сразу. — Что случилось?

— Бандиты, господин, — ответил дряхлый старик с печатью страдания на лице. — Уходите поскорее из нашей деревни, пока они не вернулись!

Малик выпрямился в седле, положил руку на рукоять меча.

— Малик Странник никогда ещё не бросал тех, кто в нем нуждался. Возрадуйтесь, ибо бедам вашим пришел конец!

Старик упал на колени. Шум сотен копыт донёсся издалека.

— Не нужно, добрый господин. Слышите? Это едут они, уходите, убегайте поскорее!

Малик слез с коня, поднял старика с земли.

— Прячьтесь! Прячьтесь! Они едут! — доносились отовсюду крики. Наш герой стоял посреди этой неразберихи, неколебимый и неустрашимый.

Скоро разбойники ворвались в деревню, заволокли каждую улицу и каждый угол. Окружили Странника, закружились коловратом коней.

— Кто ты такой?! — раздались отовсюду голоса. — Уходи, пока цел!

– Я буду говорить с вашим главным, – отвечал Малик невозмутимо, надвинув на лицо шляпу и широко расставив ноги.

Кольцо сузилось. Заблестели сабли. И раздались крики во второй раз:

– Ты дерзок! Отдавай всё, что есть у тебя! Только тогда мы тебя отпустим!

– Я буду говорить с вашим главным, – повторил Малик Странник, оставаясь недвижимым и невозмутимым. Сердце его билось ровно, дыхание его не сбилось.

Теперь уже пыль, поднимаемая конями, поднялась до неба. Мелькали вокруг Странника конские ноги, хвосты, крупы, стук копыт дробился на мельчайшие осколки. И крикнули разбойники в третий раз:

– Готовься к смерти, путник! Молись, чтобы была она быстрой!

Ни один мускул на лице Малика не шелохнулся. Ни одна нотка в голосе не выразила страха.

– Я буду говорить с вашим главным, – повторил он в третий раз.

И сотворило его спокойствие чудо. Пронзительный свист разогнал конское море, заставил разделиться надвое. Бандиты расступились, и вышел из их рядов гигант, весь увешанный цепями, с чёрным плащом за спиной и золочёной саблей на поясе. Малик Странник не сдвинулся с места.

– Я Вейрах-паша, главный в нашей дружине. О чём ты

хотел говорить со мной?

Голос его громыхал, как удары молота по наковальне. Малик поднял на него взгляд, сплюнул на песок.

– Я Малик Странник, – только и сказал он. – Оставьте этих людей в покое, или пожалеете об этом.

Главарь захохотал, и смех его рвал небо на части. Он опустил руку и отстегнул от седла огромное копьё в два человеческих роста длиной. Наконечник его был зазубрен наподобие акульих зубов – такое оружие рвало человеческую плоть, как шёлк.

– Ты смелый человек, Малик Странник. Ты заслуживаешь чести быть убитым мной.

Тогда Малик положил руку на рукоять сабли и не сказал более ни слова. Гигант замахнулся ужасающим своим оружием, но бросить не успел, потому что Странник быстрее птицы подскочил к нему и разрубил бандита на две части, а потом ещё на две части. Он повернулся к остальным разбойникам и окинул их взглядом глаз, сверкающих, как звезда Севера.

– И-и-и! – закричали они в ужасе, увидев, что сделалось с их командиром. Развернув коней, они бежали, не оглядываясь, потеряв от страха человеческий облик. Он дал им уйти, потому что Малик Странник никогда не бил в спину.

Открылись двери и окна нараспашку, выбежали на улицы жители, счастливые и радостные.

– Спасибо тебе, Малик Странник! Мы никогда не забуду-

дем твоего подвига! – подошёл к нему давший старик, ещё недавно умолявший его уйти.

Странник скромно улыбнулся, вытер кровь с клинка и сел на лошадь. Не говоря ни слова, он покинул селение. Дорога звала его, и новые подвиги виднелись на горизонте».

Бродяга дремал, разомлев в мягком кресле. Прикрыв глаза, видел он степь от горизонта до горизонта, слышал вой лихача-ветра, чувствовал на губах горький привкус полыни.

Мелькали кадры. Стучали колёсами поезда, отмечая по Турксибу и Транссибу⁴ разбросанную жизнь. Ревели моторами трассы. Моргали фонарями улицы далёких городов.

И ветер. Ветер дул в глаза, ветер дул в спину, ветер поднимал клубы пыли, закручивая их в пляшущие, мимолётные вихри.

На дереве что-то делалось. Бродяга сощурился, разглядел, как на высокой ветке юркая, блестящая чёрная змея вилась вокруг гнезда. Серая птица, не разглядеть какая, ожесточённо отбивалась, отчаянно хлопала крыльями, яростно клевала змеиную плоть.

– Не болды?⁵ – окликнул его старый пастух. Бродяга, не отрывая взгляда от схватки, ответил:

– Змея с птицей дерётся.

Старик подошёл ближе, взгляделся подслеповатыми, жел-

⁴ Турксиб и Транссиб – Туркестано-Сибирская и Транссибирская железнодорожные магистрали.

⁵ Не болды? – Что случилось? (каз.)

тушными глазами. Жертва затрепыхалась, обвитая душащими тисками.

– А-а-а-й, – махнул он рукой, видимо, так ничего и не разглядев. – Змее есть надо. У природы, у неё... законы свои. А нам вмешиваться не нужно.

Бродяга оторвал взгляд от гнезда, в котором хищница уже принялась за птенцов. Последовал за пастухом, переваривая увиденное.

Что-то вырвало его из дремоты – не то чей-то громкий удар по столу, не то сонная судорога. Помотав головой, он наклонился в кресле и уставился ословелыми глазами в монитор.

Время истекало.

3

Ташкентская с утра кишела машинами, шум моторов и нервные гудки раздражали сонного Бродягу, идущего вдоль дороги. При случае он намеревался свернуть во дворы, где тихо и спокойно. Но пока такой возможности не выдавалось.

В городской шум влился новый звук: перезвон колоколов откуда-то справа. Он повернул голову и увидел, как два человека яростно спорят у ворот церкви, на другой стороне улицы. Один из них выглядел знакомо.

– Ну надо же, – пробормотал Бродяга и направился к переходу.

– Уходи отсюда сейчас же! Полицию вызову! – махал дворник метлой.

– Полиция мне ничего не сделает, я тут просто стою, – монотонно повторял мужчина.

– Ты распугиваешь людей!

– Я просто стою.

– Вот поли... – он закашлялся, – полицию вызову, будешь им рассказывать!

– Что тут происходит?

Он приподнял брови, узнав Бродягу, дворник же повернулся и сощурился.

– Это твой дружок-алкаш?

Бродяга усмехнулся. Сходство между ними определённо было. Оба заросшие и небритые, оба в заношенной рвани, а от кого разит перегаром, сразу и не поймёшь.

– Да, это мой друг. Он доставляет вам проблемы?

– Он распугивает людей!

– Я с ним поговорю.

Бродяга заглянул ему в глаза. Субъект спора стоял в стороне и отстранённо курил. Дворник снова закашлялся, сплюнул и развернулся.

– А полицию всё равно вызову! – без уверенности в сильном голосе пригрозил он.

– Храни вас Господь.

Он ещё раз плюнул и что-то проворчал под нос. Бродяга повернулся к мужчине.

– Это уже вторая наша встреча.

Тот бросил бычок в урну, подозрительно уставился на него.

– И во второй раз ты мне помогаешь. Это случайность?

– Алматы – большая деревня, – покачал головой Бродяга. – Раз так вышло, может, расскажете, зачем вы здесь стоите?

– Надо мне, вот и стою. Не надо было бы, не стоял.

– Вы художник?

Он приподнял брови.

– У вас на пиджаке пятна краски.

Он машинально опустил взгляд. Пятна действительно были.

– Ладно. Ладно. Я Костя Хан, художник. А тебе что надо, я никак не пойму?

– Я Малик. Бродяга, – он протянул руку. Хан с сомнением пожал её. – Я собираю истории. Если вы согласитесь...

– Ты. Со мной на «ты», – нервно одёрнул его художник и вытащил из кармана сигарету. – А историй у меня нет, уж извини.

– Может, покажете свои картины? Не за бесплатно, но за бутылку водки?

– Ты... – он поперхнулся дымом. – Ты за кого меня считаешь? Думаешь, я...

Малик смотрел на него. Внимательно.

– А, впрочем, с меня не убудет, – он вдруг передумал и

махнул рукой, приглашая пройти с ним. – Ну пойдем.

Малик последовал за Ханом, на всякий случай, не сводя с него глаз. Спасибо дяде Юре, он преподавал когда-то Бродяге важный урок.

* * *

Когда они вошли в сырой подъезд, Бродяга уже было подумал, что Хан собрался его бить. Обошлось.

Художник поднялся по тёмной лестнице, подошёл к обшарпанной деревянной двери, повернул ключ в замке. Пробормотав: «воровать у меня все равно нечего», пригласил Бродягу внутрь.

Костя разуваться не стал, и Малик тоже. Зыбкий линолеум выложен газетами, заляпан краской. У дверей – чёрные пакеты. Один из них тонко звякнул, задетый ногой Малика. В коридоре – холсты, поставленные почему-то лицами к стенам. В зале – ровные ряды стеклотары и недописанная картина на подставке.

– Ты, видать, думаешь, что я алкаш, – Костя пнул попавшую под ноги бутылку, та откатилась к стене. – Что я законченный человек.

Малик промолчал. Он чувствовал, что вопрос риторический. Пахло краской, спиртом и куревом.

– Да, это так и есть, – продолжил Хан, не дождавшись ответа. – Но погляди-ка сюда.

Он указал на мольберт.

– Скажи, что ты видишь?

Малик подошёл ближе, пригляделся. Поверх тонких линий эскиза маслом написаны контуры церкви. Утреннее солнце отражается в золоте куполов, попрошайки сидят с протянутыми руками, прихожане с пустыми овалами лиц протягивают им милостыню.

– Церковь, – неуверенно ответил он. – Ту, возле которой мы с вами...

– А я, – прервал его художник, – вижу, что у попрошайки одна рука чуть длиннее другой, – он ткнул пальцем в упомянутую руку, и Малик признал, что она действительно длиннее. – Я вижу, что вот этот блик совершенно неправильной формы, я вижу, что вот здесь слишком резкий контраст, – он указывал на мельчайшие недостатки, всё распаляясь. После обернулся к Малику. – А когда я пьян, я их не вижу. Когда я пьян, я могу просто взять и нарисовать. Во-от, – он развёл руками, нервно зашагал по комнате.

– Это прекрасная картина, – попытался успокоить его Малик. – Этот... оттенок неба, эти тона...

– Оттенок неба! – всплеснул руками Хан. – Да кому есть дело до неба, когда блик неправильный! Вот представь... – он понизил тон. – Представь, что Микеланджело или кто там ещё писал фреску на потолке храма, писал долго и упорно, идеально отобразил каждую деталь, каждый мазок, но... на фреску села муха. И оставила след. И люди! – он повысил

голос. – Люди смотрят на фреску и видят муху! А остальную фреску, прекрасную, замечательную фреску – нет!

– Я не вижу муху. Я заметил эти крохотные ошибки только тогда, когда вы на них указали.

– Но ты увидел! Ты признал эти ошибки, когда на них указали пальцем! А меня в дрожь бросает, когда я представляю, что к этой картине подходит человек более сведущий и тычет в неё пальцем! И говорит, что блик неправильный! И все смотрят! Молчи. Молчи, – он движением ладони остановил Малика, отвернулся к стене. – Я понимаю, что это чепуха, но как же это мешает...

Хан стоял, отвернувшись, со сжатыми кулаками.

– Так проблема не в алкоголе.

– Не-ет. Совсем не в алкоголе, – он сунул руки в карманы и снова зашагал по комнате, стараясь не смотреть на картину. – Проблема в том, что я таким уродился. А алкоголь – это не проблема, алкоголь – это решение. Во-от, – он остановился, поднял взгляд на Бродягу. – А ты, Малик, кто бы ты там ни был, подходишь ко мне и спрашиваешь, нет ли у меня каких историй. У меня нет историй. У меня есть незавершенная картина и... и всё.

Малик сжал губы, кивнул.

– И всё же... – достал из кармана блокнот, записал цифры. Круглыми глазами Костя смотрел на него. – Если вам потребуется помощь, позвоните, пожалуйста.

Хан взял протянутую бумажку, взглянул на неё. Перевёл

взгляд на Бродягу.

– Со мной на «ты», – повторил он. – Если мне потребуется помощь? Ты странный человек.

Всё же он положил номер на стол, задумался. Побарабанил по дереву пальцами.

– Мне нужно купить краски. Раз уж ты так хочешь мне помочь, дай мне...

– Я куплю тебе краски, – заверил Бродяга.

– Откуда ты знаешь, какая краска мне нужна? Я сам пойду и выберу.

– Тогда пойдём вместе.

Хан нервно пожевал губу. Глаза бегали с Малика на холодильник.

– А, Бог с тобой, дают – бери, – наконец пробормотал он. – Хорошо. Пойдём, Малик. Уговорил.

Бродяга довольно усмехнулся. Начало было положено.

4

Константин Хан видел сон.

Слышал сон. Чувствовал сон. Он находился внутри сна и сном же являлся.

Белый лист, пустота. Точка – карандашная ли, оставленная ли шариковой ручкой или кистью, абстрактная ли, не имеющая ни длины, ни толщины. Бормотание на фоне – какая-то белиберда, не разобрать ни слова. Линия. Вторая, тре-

тъя. Последняя почти завершает квадрат – почти, не попадает ровно в первую точку и снова идёт наверх, снова обводит квадрат, пытается исправить его, но только портит.

Быстрее и быстрее.

Линии становятся небрежней, голос бубнит громче, злее, раздражённей.

Ещё быстрее.

Некто невидимый уже даже не старается, а просто водит в исступлении чёрным по белому, квадрат превращается в сплошную невнятную каракулю, будто кто-то долго расписывал ручку, будто рисовал ребёнок или сумасшедший.

А голос уже кричит, голос захлёбывается от ярости, и всё быстрее и быстрее, всё небрежней, хуже, отвратительнее, посредственнее, кошмарнее, кривее, паршивее, сквернее, слабее...

– Х-а-а!

Знакомый потолок, и дурнота, и тяжёлая боль, будто жидкий свинец плещется в черепе и давит в глаза. Хан прикрыл веки и лежал, пытаясь отделить сон от действительности. Проклятое солнце светило прямо в мозг.

Костя медленно, с усилием приподнялся и вдруг понял, что в комнате он не один.

На табуретке, рядом с кроватью, по пояс голый, сидел молодой человек. Длинные чёрные волосы падали на изнурённое лицо, на груди раскачивался не крестик, но какое-то странное украшение: узкий металлический цилиндр длиной

эдак в палец. В руках – шитьё, иголка застыла в поднятой руке. Затуманенные припухшие глаза наблюдают за ним.

Малик, Бродяга.

– Ч-что случилось? – с трудом произнёс Костя. Малик вздохнул и воткнул иголку в ткань.

Пахло блевотой. Он опустил взгляд и увидел возле кровати тазик с мутной жижей.

Хотелось пить.

– Мы купили красок. Тех, что тебе были нужны. Это ты помнишь? – устало начал Бродяга.

Хан с трудом сел на кровати, положил голову на ладони.

– Да. Это я помню.

– Мы пришли сюда, и ты стал писать картину.

– Да. Я стал рисовать.

Хотелось пить.

– Потом я ушёл.

Костя молча кивнул.

Кажется, он решил немного выпить, чтобы работалось лучше. Нет, не кажется. Раз всё это сейчас происходит... значит, он действительно выпил, помнит он это или нет.

– Я вернулся через несколько часов, потому что оставил у тебя записную книжку, – продолжал Малик. Каждое слово прокатывалось ржавым напильником по мозгу. – И застал тебя во дворе.

Он вспоминал. Что-то пробивалось сквозь густую пустоту. Какие-то крики, перекошенные лица...

– Ты был... пьян. Полез в драку, порвал на мне футболку... – он показал своё шитьё и снова опустил его на колени.

Он хватается за чужой ворот, падает, раздаётся треск разрываемой ткани. Что-то впивается в шею и звонко лопается.

Хан резко дотронулся рукой до шеи.

– А где крестик?

– Крестик? – брови Малика приподнялись. Он задумался, потёр подбородок. – Наверное, в драке потерялся. Его уже не было, когда я привёл тебя домой.

Константин издал стон и опустил лицо в ладони.

– Что дальше было?

– Ничего. Я уложил тебя, ты немного побуянил и уснул.

Он ещё раз простонал. Хотелось пить.

– Выходит, ты в третий раз мне помог, Малик.

– Бог любит троицу.

Хан поднял взгляд.

– Да. Любит.

– Этот крестик был тебе дорог?

Он потёр глаза. Хотелось пить.

– Не слишком. Просто... это, видимо, Он мне намекает... что пора бросать.

Костя указал пальцем в потолок. Малик вернулся к порванной футболке.

– Может быть.

Ни гнева, ни раздражения. Что это за человек?

– Малик... кто ты такой?

– Бродяга, – он отвёл руку в сторону, вытягивая нить. – Я не от Него, если ты про это. Просто человек, пытающийся помочь ближнему.

– Просто человек... – Константин медленно поднялся, прошёл на кухню. Вернулся со стаканом воды. – Нет, обычный человек бы всем этим не занимался. Ты очень странный человек.

Малик вытянул ещё стежок.

– Что планируешь делать дальше?

– Не знаю. Но, в любом случае, больше ни капли, – он вытянул ладонь, сжал в кулак. – Поздравь себя, ты помог одному старому алкашу... кое-что понять.

Бродяга откусил нитку, натянул футболку на себя. По вороту висел неровный, но явно прочный шов.

– Ну, хоть что-то, – он пожал Косте руку, убрал нитку с иголкой в карман. – Удачи тебе, Костя. Я тебя ещё навещу.

– Спасибо.

Он закрыл за Маликом дверь, выпил ещё воды и подошёл к картине. Уставился на неё мутным взглядом.

Дьявольски хотелось пить.

5

На блошином рынке ровными рядами сидели продавцы, преимущественно пожилые. На картонках перед ними разложены старые инструменты, украшения, медали, приборы

неясного назначения, одежда... Всего не перечислить.

Среди всякой интересной старьёвщины взгляд Бродяги выхватил потёртый временем, увесистый на вид фотоаппарат...

– Зачем ты каждый раз ходишь к церкви? Не удобнее было бы сделать фотографию и писать с неё?

Константин Хан потёр щетину, не сводя глаз с разноцветных тюбиков.

– Уж извини, Малик, но ты ничего не понимаешь. Фотография никогда не передаст того, что можно увидеть глазами. Не только глазами. Звуки, запахи, ветер, тепло или холод, – он взял с прилавка два, казалось, одинаковых жёлтых тюбика и стал внимательно читать надписи на этикетке. – Никогда.

...Малик шёл по улице, и на груди его в такт шагам покачивался массивный «Зенит Е». На перекрёстке остановился, огляделся.

По проспекту Саина текли машины. Погода была ясная, и горы виднелись особенно отчётливо, как на экранах дорогих телевизоров в магазине электроники. Бродяга прицелился в объектив.

Ветер переменился, запахло куревом. Он обернулся и увидел идущего навстречу Хана с сигаретой в зубах.

– Привет, Малик.

Он выглядел уставшим. Под покрасневшими глазами ви-

сели мешки, ладонь, протянутая для рукопожатия, заметно дрожала.

– Привет. Ты куда?

– Туда же, куда и обычно, – уныло протянул Костя.

Они перешли зебру и зашагали вниз по улице.

– Фотоаппарат прикупил, ха? А я вот... – он неожиданно начал рассказывать, – вчера шёл по улице, и передо мной шли бабушка с ребёнком. У малого с рюкзака что-то капало, наверно, бутылка с водой разлилась или вроде того, – он затянулся, закашлялся. – А я видел и не сказал ничего. Просто мимо прошёл.

На широком боку панельного здания, чуть потёртый временем, красовался мурал – зелёное жайляу⁶ в окружении тех же гор, юрты и бегающие ребятишки.

– Что ж ты промолчал?

– Да-а, – он махнул сигаретой. – Они вроде казахи были, а я казахского не знаю. Подумал, не поймут меня, неловко будет.

Ещё затяжка. Сегодня он курил больше обычного.

– А сейчас вот... думаю об этом.

Они спустились в подземный переход, и стало заметно тише. Только раздавался из динамиков негромкий перебор на домбре.

– Ну, в следующий раз не промолчишь. Теперь-то что поделать.

⁶ Жайляу – летнее пастбище.

– А ты? Ты-то зачем всем этим занимаешься?

Малик пожал плечами.

– Я всё никак понять не могу, какая тебе в этом выгода?

Россказни про сбор историй – это же просто отговорка.

Бродяга остановился.

– Я просто хочу принести хоть какую-то пользу миру. Хочу знать, что жил я не зря и хоть кому-то сумел помочь. Такое объяснение сойдёт?

Хан оглядел его. Окурок в зубах уже прогорел до фильтра. Прожужжала над головой пронёсшаяся сверху машина.

– Да, кажется, понимаю. Ты странный человек, я это уже говорил.

Бычок полетел в урну, из пачки извлеклась новая сигарета. Проснувшийся город отряхивался и набирал обороты.

* * *

Ещё на подходе к церкви Малик увидел лежащее у ворот тело. Даже разглядел лицо и узнал давешнего дворника.

– Смотри, там человеку плохо.

– Бродяга, – Костя положил ему руку на плечо. – Вмешаешься – будут проблемы. К тому же ты можешь сделать только хуже.

– Я только вызову скорую.

Хан кивнул и выплюнул сигарету.

– От тебя другого не ждал.

Малик его не услышал. Он уже подбежал к дворнику, обнаружил, что тот ещё дышит, хотя и с огромным трудом, с натужным свистящим хрипом и судорожными корчами. Посиневшие руки хватаются за горло, выпученные глаза уставились в небо.

Он понятия не имел, что с ним. Вытащил телефон, набрал скорую. Гудки. Долгие. Надсадный хрип. У несчастного закатываются зрачки.

– Слушаю вас.

– Скорая? Нужна помощь, здесь человек...

– Дай-ка.

Хан вырвал у Малика телефон, поднёс к уху, зажал плечом. Присел на колено, приложил два пальца страдальцу к пульсу.

– Астматический статус. Тяжёлый. Да. Не знаю, – он спокойными движениями расстегнул мужчине ворот. – Момышулы – Ташкентская, по нижней стороне, возле церкви. Да. Я знаю, что делать.

Он сбросил и передал трубку Малику. Пошарился по карманам мужчины, вытащил баллончик со спреем, встряхнул, побрызгал в раскрытый рот.

Не у него ли только недавно тряслись руки и дрожал голос?

Константин закончил и тяжело опустился на землю. Дворник продолжал задыхаться.

– Это всё? – Бродяга недоумённо и недоверчиво уставился

на него.

– Всё, что в моих силах. Дальше от медиков зависит. И от Него, – он ткнул большим пальцем в сторону церкви. На лбу блестели капли пота.

* * *

Спустя некоторое время они сидели на скамейке во дворе Хана. Бродяга смотрел на небо, Костя нервно дымил выпрошенной у фельдшера сигаретой. Его трясло.

Костя затаился. Малик шмыгнул носом.

Из подъезда вышел рыжий мужик с набором инструментов в руке, подозрительно глянул на них, подошёл к припаркованному рядом «Запорожцу». Разложил инструменты, открыл капот и стал ковыряться в потрохах автомобиля.

Малик почесал затылок. Костя кашлянул.

– Ты, кажется, хотел услышать историю, – он наконец прервал молчание. – Сейчас ты её услышишь, – он затаился, надолго, со вкусом. Выдохнул дым: – Так, вот, жил в нашем городе один студент медицинского. Готовился, значит, в хирургии. И однажды поехал он к своему дальнему родственнику на какой-то там праздник, уже не помню. Началось там, как обычно, веселье, все нахрюкались... И один, кхм, дальний родственник дальнего родственника по ошибке глотнул уксуса.

Мотор «Запорожца» взревел, поурчал пару секунд и утих.

Мужик матернулся и полез под машину.

– Началось, в общем. Все паникуют, студентик подбегает к нему, видит – ожог гортани, отёк, воздух не поступает – всё, край! – он взмахнул рукой. – Там бы и загнулся, но студентика обучил один... умный профессор т-тра... трахеостоме. Ну, он по сторонам огляделся, взял ручку, наспех обработал водкой, ну и... – Хан сжал кулак и сделал резкое движение вниз.

– Получилось? – Малик был восхищён. Он такое видел только в фильмах.

– Получилось, – протянул Костя. – Мужик выжил. А через полгода подал на студента в суд.

– За что?

– За то. Там приготовления были кое-как проведены, у него голос изменился, и вообще, у этой штуки масса сопутствующих... Короче, в суде меня оправдали, но с последнего курса выгнали. Во-от. Помог, называется.

Снова раздался рёв мотора, потом скрипящий визг и вновь – тишина.

– Но человека-то спас.

– Спас, – Хан встал со скамейки, выбросил бычок в урну и повернулся к Малику. – Ладно, Бродяга, я пойду. Не знаю, как тебя, а меня вот... трясёт, – он запахнул пиджак, огляделся.

– Удачи тебе. Я как-нибудь ещё зайду.

Они попрощались, и Костя пошёл к себе – писать картину,

а Малик – в сторону выхода со двора, по своим делам.
Эту историю точно следовало записать.

6

Новый день принёс с собой новое дыхание осени. Посмурневшее небо наливалось свинцом, с деревьев осыпалась жёлтая листва, холодный ветер норовил забраться под одежду.

В такую погоду всегда хотелось пить.

Константин Хан смотрел на церковь и курил. Дворник во дворе подметал разноцветный мусор, сгребал в кучи, долго стоял, разгибаясь и поглядывая на бледное солнце.

Увидев Хана, он прервался и пошёл в сторону сторожки.

«Что, опять прогонять будет?» – думал Костя, наблюдая за приближающимся кистером. В руках у него не было метлы, зато был увесистый с виду пакет.

О нет.

Он подошёл к Хану, снял с руки перчатку и протянул ладонь. Широко улыбнулся.

– Спасибо тебе, дружище! Прости, я-то думал, ты алкаш какой, а ты нормальный мужик! – он закашлялся, когда Костя выдохнул дым. Протянул ему пакет. – Я... это... купил тебе вот.

Хан глянул внутрь и убедился в своей догадке. Бутылка коньяка, явно дорогого. Красивая этикетка на контурной бутылке, розовая акцизная марка на фигурной пробке...

«Ублюдок».

Улыбка дворника была искренней, а вот на лице Хана застыла резиновая гримаса. Он даже не заметил, как рука сама собой вцепилась в ручку пакета, и пальцы накрепко сжались, отказываясь отпустить драгоценный подарок.

Хотелось пить.

«Лучше бы ты там сдох».

Дают – бери. Это совсем не та бодяга, которую он обычно пил.

Он попытался было вежливо отказаться, но язык не слушался. Дворник отпустил пакет, и тот повис в руке приятной тяжестью.

От него и похмелья, наверно, не будет. Он ведь медик, он знает – иногда можно.

Но что скажет Малик? А главное, что он подумает?

Костя собрал волю и взмахнул пакетом. Раздался стеклянный звон, и в воздухе разлился дразнящий запах.

Кистер ошалелыми глазами смотрел то на пакет с осколками, то на вытекающие из него медные струйки, то на дрожащего Хана.

– Я б-больше не пью, – выдавил тот. – Из-звините.

Он развернулся и спешно ушёл, спиной чувствуя недоумённый взор.

Хотелось пить.

Константин Хан сидел на полу и сверлил взглядом картину. За окном уже темнело, и комнату освещала только желтоватая лампочка на проводе.

В этом свете каждый недостаток становился отчётливей. Хотелось пить.

Он поднял кисть, медленно, как скальпель к нарыву, поднёс её к полотну, остановился. Нет, нет. Так будет только хуже.

Хотелось пить.

Рука дрогнула, оставив пятно на золочёном куполе. Он тяжело вздохнул.

Это как в том сне с листом бумаги. Чем старательней пытаешься исправить, тем больше портишь. Как бы так аккуратно замазать пятно?

Хотелось пить. Он добавил пасты из тюбика, затаил дыхание и провёл кистью по холсту. Отодвинулся, взгляделся.

Так только хуже. Хотелось пить.

Он только всё испортил. Хотелось пить.

Может, краска не та? Хотелось пить. Может, попробовать иначе? Хотелось пить.

Он перевёл взгляд с купола и решил заняться попрошайкой и её рукой. Хотелось пить. Наверное, стоит...

Он не знал, что делать с этой проклятой попрошайкой и

её рукой. Просто не знал. Хотелось пить.

Хан снова видел перед собой улыбающееся лицо дворника, ощущал тяжесть пакета, слышал звон стекла, вдыхал манящий запах. Хотелось пить.

Хотелось пить. Хотелось пить. Хотелось пить. Пить.

Странный шорох в углу. Возле занавески. Из плена неплотной ткани вырвалась толстая чёрная муха, кружась пролетела по комнате и села на картину, прямо посередине блёклого, кривоватого солнца. Посидела немного и стала довольно потирать лапки.

– А-а – а!

Хан ударил кулаком по холсту, картина полетела в сторону, мольберт грохнулся на пол, муха недовольно прожужжала и села на потолок. А он всё бил и рвал, разорвал полотно, разломал подставку, разбросал кисти. Из оскаленного рта брызгала слюна, он что-то бормотал, как во сне, и давился бессильным криком, и топтал ногами золочёный купол, и попрошайку с длинной рукой, и рассветное небо.

Потом встал посреди устроенного погрома, осознал, что только произошло, упал на пол и заплакал.

* * *

Ночь была сладкая, как спирт. Внутренний жар не страшился прохладного ветра, клекотал под кожей и выплёскивался песней наружу.

Он шёл дворами, теми чудесными дворами, что бесконечно и причудливо перетекали друг в друга, дворами, в которые можно было зайти в одном месте, а уж выйти...

Он шёл, встречая редких прохожих, и пустые детские площадки, и ночные магазины, и отгороженные сетками огороды, и чучела из крашенных покрышек, и прочее, и прочее, и прочее...

Он шёл, вкушая тишину безлюдных дворов, вдыхая ночной прохладный воздух, наслаждаясь причудливым сочетанием старины и современности, узором горящих окон, сиянием бессмертных звёзд и диодных фонарей.

Хан спустился по древней полуразрушенной лестнице, споткнулся, упал, встал. Сегодня он был готов подниматься сколь угодно раз. Он прошагал под аркой и оказался на проспекте. Остановился, очарованный старой советской мозаикой на боку панельного дома.

Изображала она храм, не понять какой. Было в ней два цвета: пыльный серый и тёмно-бордовый, такой же, как у порослей дикого винограда на стене здания. И была она прекрасна.

Раздался чудовищный рёв, будто разверзся ад, и по улице промчался мотоцикл. Хан отвлёкся и побрёл вдоль ряда зданий, разглядывая другие мозаики: церкви, мечети, мавзолеи...

Навстречу шёл человек. Он держался тени, в руках его была спортивная сумка, походка его была спокойной и вели-

чавой – будто каждый шаг выжигал в земле глубокий след. Завидев Хана, он, однако, собрался и ускорился.

– Уважаемый! Уважа-аемый!

Незнакомец проигнорировал его и прошёл мимо. Костя увязался за ним.

– Дайте денег, будьте добры! Уважа-аемый!

– Отвали, алкаш! – процедил он.

– Христа ради!

Он обернулся, и в свете фонаря он увидел его лицо, золото волос и серебро очей. Он был ангелом, не иначе, и он шёл, чтобы карать недостойных.

Ангел выкрикнул что-то гневное, и под дых врезался кулак. Хан согнулся, исторг из себя желчь и упал. Поднял голову, сквозь мокрую пелену увидел, как ангел уходит. А он лежал перед ним, пьяный и облёванный, и плакал от счастья.

Константин Хан лежал в свете фонаря, в окружении старых фресок, умиротворённый, будто заново родившийся. Он только что понял, что ему нужно делать.

7

Бродяга вошёл во двор Хана, держа в руках проявленные снимки. Фотографии вышли, честно говоря, не ахти, но он хотел услышать его мнение.

В песочнице что-то блеснуло. В той самой, где он недавно успокаивал разбуянившегося Костю. Он подошёл, накло-

нился.

Нет, не крестик. Просто осколок стекла с остатками этикетки. Малик выкинул его в урну, отряхнул руки и направился ко входу.

Домофон долго пищал. Он уже было подумал, что хозяина нет дома, но вдруг динамик выдал хриплое:

– А? Кто это?

Странное предчувствие. Неужели...

– Это Малик.

– А-а-а, Малик... – молчание. – Ну что, заходи.

С тяжёлым сердцем он шагнул в подъезд, поднялся по лестнице, нажал кнопку звонка. Замок сухо щёлкнул, дверь отворилась, и Малик обомлел.

Константин Хан стоял в проёме, опираясь на стену. Полу-безумные глаза осматривали Бродягу, рот кривился в косой усмешке, мокрые волосы спадали на лоб.

– Привет, Малллик. Ты чего зашёл?

Бродяга молча протянул снимки. Он взял их, поднес к лицу.

– А, это... Это мне больше н – не нуужно.

Он шаркающей походкой направился в глубь квартиры. Махнул рукой.

– Прохходи, чего стоишь.

Малик прикрыл за собой дверь и последовал за Ханом, всё больше поражаясь. Крепче обычного несло перегаром, красками и куревом. Всюду валялись бутылки и окурки.

Войдя в комнату, он увидел стоящий посреди беспорядка ко-соногий, кое-как скреплённый мольберт и картину на нём.

«Так быстро? Он что, вообще не спал?»

Это был парень возрастом, возможно, чуть старше Малика, с длинными светлыми волосами, собранными на лбу лентой, с сурово сведёнными бровями над белым пятном вместо глаз, с презрительно оскаленным ртом. Позади его – сияние, как на плакате с супергероем или на иконе.

– Кто это?

– Ангел, – коротко ответил Костя, поднимая над картиной кисть. Один лёгкий мазок очертил глаз «ангела».

Малик приподнял бровь.

– А чего злой такой?

– Ещё бы он был добрым, – он наложил ещё штрих, отодвинулся, придирчиво оглядел результат. Сегодня Хан был немногословен.

– Так ты решил... не бросать?

– Неет, – он покачал головой. – Я должен пить, чтобы рисовать. А рисую я, потому что с-сверху... – он указал кистью на потолок, – так решили. А кто я такой, чтобы им противиться?

С этими словами он поднял с пола початую бутылку и отхлебнул с горла. Выдохнул.

Малик сомневался.

«Раз он так считает... И раз ему это на самом деле помогает... Действительно, кто я такой, чтобы вмешиваться?»

– Я тебя понял, Костя. Удачи тебе.

Он чувствовал, что мешает, и к тому же хотел вдохнуть свежего воздуха. Поэтому направился к двери.

Сзади что-то тяжело упало. Малик обернулся и увидел, что Константин Хан лежит на полу и слабо подёргивается.

Часть II

*И вот без причины,
Опять без причины,
Исчезнешь, на свет появившись едва,
Ведь только песчинка,
Ты только песчинка
В руке божества.*

*Так чем же кичишься,
Что резво так празднуешь?
Ничтожно твоё торжество...
Зачем в этом мире,
Да мире неназванном,
Зачем ты живешь, существо?*

«Существо», Пикник

1

В пасмурную погоду сквозь серую пелену видны были только силуэты гор, но их присутствие чувствовалось постоянно. Накрапывал мелкий дождь, покрывая дрожащей

рябью гладь Сайранского водохранилища. Осенняя ржавь ползла по городу.

Бродяга брёл, укрытый дождевиком, по асфальтовым тропинкам вдоль озера. Редкие прохожие не обращали на него внимания. Брёл, сунув руки в карманы, уставившись в одну точку, поглощённый тяжёлыми мыслями.

Группка полицейских проводила его внимательными взглядами. Поджарая овчарка повернула голову, и над намордником Бродяга увидел её сучающие глаза.

«Закладчиков ищут», – догадался Малик. Прошёл мимо и свернул на улицы частного сектора.

Силуэты гор скрылись за широкой новостройкой. Он по памяти нашёл нужный поворот и остановился у жестяных зелёных ворот. Постучался. Подождал.

Залаяла собака, ей отозвалась соседская, и по всему переулку прошёлся лай – короткий басистый, звонкий заливиственный, тонкий щенячий. Он постучал ещё раз.

Услышал, как заскрипела дверь. Захлопали по лужам сланцы.

– Кто там?

Женский голос, строгий и очень знакомый. Он усмехнулся.

– Я.

– Кто «я»?

Звякнул два раза замок, калитка приоткрылась, узкое белое лицо осторожно выглянуло наружу.

– Ах!

Он стоял, опёршись на забор, мокрый и уставший, и невесело улыбался.

– Честно говоря, я не собирался возвращаться, но ситуация так сложилась...

– Исчез сначала, потом три года где-то шлялся, теперь приходишь и просишь денег, – она поставила на пробковую подставку заварник, вынула из шкафа пиалку. – Тебе с молоком?

– Без.

Дарина налила дымящегося крепкого чая, протянула ему.

– Ты есть хочешь?

– Я не голоден и здоров, – терпеливо заверил её Бродяга.

– Точно?

– Точно.

Она наконец перестала суетиться, налила себе молока в чай и села за стол. Сложила на столешнице локти.

– Ты к нам надолго?

– Не знаю. На несколько месяцев, наверное.

– А-а-а, – она подула на чай. – Так что у тебя? Где был, что делал?

– Я... – он вздохнул. – Путешествовал и собирал истории. Могу тебе рассказать, если хочешь.

– Понравилось?

– Как сказать... – Бродяга отхлебнул из пиалки. Знакомый вкус, почти забытый. – Я и сам не знаю. Но, послу-

шай... – он приподнял ладонь, останавливая новый вопрос. – У меня тут друг с микроинсультом свалился. Ему нужны деньги на лечение. Если ты мне одолжишь, я могу...

– С инсу-ультром? – она быстро отхлебнула чая, деловито спросила: – Сколько?

Он назвал сумму. Такую, какая бы не затруднила ни сестру, ни его, и какую бы он смог вернуть за несколько месяцев упорной работы.

– Ммм, – она задумалась, что-то подсчитывая в уме. – Будет. Будет.

– Спасибо.

Бродяга расслабился и откинулся на стуле, оглядывая кухню. Всё те же обои, дорогие, но старые, местами отклеенные. Мебель всё та же, и сервиз... А вот микроволновка стояла новая, в чёрном пластике, с цифровым экраном.

– Как там кафешка?

– Ой, там всё по-старому, – Дарина махнула рукой. – Шефа только нового наняли, вроде толковый.

– А что с дядей Устином?

– Дядя Устин умер.

– Да? – он стукнул пиалкой о стол. Негромко тикали часы. – Когда?

– В прошлом июле. В сердце у него шунт какой-то отошёл. Прошлый июль. Чем он тогда занимался? Не вспомнить.

– Жалко, – только и нашёлся Малик.

Они опять молчали. Чай закончился, и сестра сразу нали-

ла ещё.

– Что-то починить нужно? Дома там, на работе?

Она почесала нос.

– Фильтры бы поменять. Муж занят вечно, а у меня сил не хватает.

– Ты замуж вышла?

Бродяга сразу глянул на её руки и увидел кольцо. Ну надо же.

– Ага.

Задребезжал звонок. Дарина вскочила.

– Вот он и пришёл, наверно.

«Так они звонок поставили...» – мельком подумал он.

Снова скрипнула дверь. В дом вошёл высокий смуглый казах лет тридцати.

– Знакомьтесь. Это Алан, мой брат. Помнишь, я тебе про него рассказывала?

– Помню, помню. Очень приятно. Я Жора, – он выглядел недоумённым, но быстро улыбнулся и пожал Бродяге руку. Ладонь у него была худая и крепкая.

– Здравствуйте. Жора? – переспросил Алан.

– Жарылкасын, – уточнил он, снимая обувь. – Но вообще Жора.

– А-а-а.

– Что у тебя там с работой?

– Нихрена, – он устало помотал головой и пошёл в соседнюю комнату, переодеваясь на ходу.

– Есть хочешь?

– Да.

Он исчез за дверью.

– Жора декоратор, – объяснила сестра. – Сейчас занимается домом одного богатея, а тому Картина нужна. Прямо Картина. Вот он ездит по городу и ищет художников, а всё не то.

– Ха, – Бродяга усмехнулся. Было это божественным провидением или простой случайностью? Неважно. – Кажется, у меня есть, что вам предложить.

* * *

В квартире Хана больше не пахло ни красками, ни спиртом, ни табаком. Только слегка тянуло горьковатыми лекарствами. Картины аккуратно сложенными стопками лежали в углу, недописанный портрет покоился рядом. Бродяга очень надеялся, что *пока* недописанный.

Хозяин обиталища, недавно выписанный из стационара, лежал на кровати, укрытый одеялом. Паралич начинал проходить, руки и ноги уже шевелились, хоть и плохо, левое веко тяжело висело на косом глазу. Говорил Хан невнятно и с трудом. Больше жестикулировал.

– Как себя чувствуешь?

Он вздохнул, хрипло, со свистом.

– Всё так жже.

Бродяга кивнул.

– Поправляйся. У меня тут есть новость, которая тебя обрадует.

Костя повернул голову в его сторону, двинул рукой – мол, говори.

– Возможно, нашёлся покупатель для твоей картины. Мне нужно будет сфотографировать её и все остальные и показать ему.

Хан долго молчал. Мучительно долго.

– Еммсть промлемма.

– С фотографиями? Но иначе мне придётся водить к тебе в квартиру людей.

Он с усилием помотал головой.

– Не хочешь продавать?

– Я ззапыл.

Алан уставился на него.

– Что забыл?

– Ллисо, – он поднял руку и указал в сторону портрета. – Я нне поммну лица.

Бродяга застыл.

– Совсем?

Хан натужно кивнул. Алан потёр виски пальцами.

– Ч-чёрт. Ну, раз так... – он собрался. – Я покажу ему другие картины. Может, что получится. Ты не против?

Он снова двинул рукой.

– Нне прротив.

– Хорошо.

Алан разложил по полу все картины – их было около десятка. Большинство изображали различные церкви, но были и пейзажи: он узнал Сайран в своем летнем великолепии, гостиницу «Казахстан», оживлённый парк где-то в старом городе...

Часть полотен была незакончена, ещё часть – перечёркнута крест-накрест размашистыми мазками. Бродяга сфотографировал все.

Попрощался с Ханом и побежал проявлять плёнку.

* * *

Жора-Жарылкасын поздоровался с Аланом, протянул ему фотографии и сел рядом на скамейку.

– Портрет ему понравился, – сразу заверил он. – Говорит, даст не меньше миллиона, если Хан его завершит.

Бродяга мрачно покачал головой.

– Если. А с остальными?

Жора цокнул языком.

– Ему нужен портрет. Я поездил по другим клиентам, они дают по пятьдесят – сто тысяч. Обычные цены. Но за него...

Издалека донёсся раскатистый азан⁷. Жарылкасын обернулся от неожиданности. Алан сидел, погружённый в мрачные раздумья.

⁷ Азан – мусульманский распевный призыв к молитве.

«Сто тысяч тоже неплохо, в конце концов. Надо спросить у Хана».

– Там мечеть, что ли? – спросил Жора.

– Возле супермаркета, – кивнул Бродяга.

– А-а – а.

Жора вынул пачку сигарет и закурил. Призыв к молитве плыл по городу. Прохожие останавливались – кто разворачивался и следовал на звук, кто слушал и шёл дальше по своим делам. Жарылкасын курил, Алан молчал.

Стихло.

– Как тебе семейная жизнь? – высказал он давно назревавший вопрос.

Жора вынул сигарету изо рта, задумался.

– Как сказать... – он почесал затылок. – Возни, конечно, много. И это ещё детей нет. Но, знаешь, жизнь осмысленней стала. Раньше для себя жил, вроде бы и проще, а вроде бы и... зачем?

Бродяга кивал.

– Понимаю. Не то чтобы разделяю, но понимаю.

– К этому прийти надо. Вот тебе сколько?

– Двадцать три вот стукнуло.

– Ну... – он затаился. – Я в твоём возрасте тоже об этом не думал. А сейчас вот...

Жора выкинул окурок в фигурную урну с орнаментом на боку.

– Просто задумался, какой след в мире оставлю. Был бы

я талантлив, как этот твой Костя – после меня остались бы картины, или скульптуры там, или книги... бәрібір⁸. Для великих дел уже староват, да и не гожусь я на них. Только и остаётся, что детей вырастить, чтобы хоть они лучше меня были.

Налетел прохладный ветерок, и Алан поёжился. Встал, потянулся.

– Сделать так, чтобы будущее поколение жило лучше нас. Хотя бы немного, – констатировал он.

– Да, – согласился Жарылкасын.

Он тоже встал. Бродяга протянул ему фотографии.

– Пусть у тебя побудут.

Они попрощались и пошли каждый в свою сторону. Дела ждали – не великие, но всё равно важные.

2

Андрэй стоял перед шеренгой и помахивал резиновым ножом.

– Когда ты вступаешь в бой с кулаками против ножа, ты должен понимать, что твои шансы выжить в лучшем случае равны одному из трёх. Далее они стремятся к нулю в зависимости от вашей разницы в навыках. Поняли?

Все кивнули. Тут были начинающие: дети, отданные в секцию, женщины и подростки. Выделялся новичок – жили-

⁸ Бәрібір – Всё равно. (каз.)

стый, длинноволосый, быстрый в движениях. Этот всю тренировку нервировал Андрэя своим внимательным странным взглядом.

– Ты... Алан, верно? – подозвал он новичка. – Драки с ножом лучше будет избежать. Но если избежать не получится... – он бросил снаряд новичку, тот рефлексивно словил. – Бей. Сбоку, снизу, неважно.

Алан быстро прикинул, симитировал удар. Тут же оказался скручен в болевой и повержен на маты.

– Видели? – довольно ухмыльнулся Андрэй. – Вставай. Теперь медленно.

Они отработали ещё несколько приёмов, потом проделали физические упражнения и закончили тренировку.

Тренер Гжегож, поляк родом из Англии, человек огромного роста и огромного мастерства, подошёл к нему в раздевалке.

– Что ты всю тренировку новичка пинал?

Андрэй ухмыльнулся.

– Проверял, на что он способен.

– Ты смотри, не распугай учеников! – шутливо погрозил Гжегож. – Ладно, Рэй, до пятницы.

– Давай.

Тренер исчез в проёме, и сразу за ним вошёл Алан. Выглядел он усталым и довольным. Прямо-таки счастливым.

– Ну чё? Как тренировка?

– Тренировка? А, да, неплохо.

– Будешь ходить? – Рэй поправил волосы, натянул ленту на лоб.

– Да. Да, – тот, казалось, думал совсем о другом. – Слушай, Андрей...

– Андрэй. Через «э».

– Извини. Андрэй. Одному моему знакомому художнику нужен натурщик твоего типажа. Нет желания?

– Натурщик? Это голым позировать?

Алан усмехнулся.

– Нет. Только портрет. Пару вечеров на стуле посидишь и получишь гонорар.

– Хм, – Рэй задумался. Поднёс к носу пропотевший носок. – Нет. Не хочу.

Новичок приподнял бровь.

– Ты уверен?

– Уверен. Увидимся, Алан, – он закрыл шкафчик, сунул наушник в ухо и вышел из раздевалки.

* * *

Ещё издали заслышав шум приближающегося поезда, он поспешил. Миновал рамку металлоискателя, на ходу вытаскивая карту, поднёс её к терминалу, спешно спустился по лестнице и побежал к путям.

Молодой мент раскинул руки, преградил дорогу.

– Келесі, келесі!⁹

Рэй затормозил, двери поезда с шипением затворились, на табло загорелось «11:20», полицейский вразвалку зашагал вдоль жёлтой полосы, насвистывая и помахивая жезлом.

Андрэй тихо выругался и сел на скамейку. Прибавил громкости в наушнике.

I try to think about tomorrow,
But I always think about the past...¹⁰

Он сидел, вперившись взглядом в отсчитывающее секунды табло, постукивая пальцем по колену. Ожидание его раздражало.

I remember we were happy.
That's all I think about now.
That's all I think about now.

Движение сбоку. Жилистый, быстрый в движениях длинноволосый парень сел рядом и положил пузатую сумку к себе под ноги.

– Привет, Рэй.

If you have any doubt
I want to thank you anyhow.

⁹ Келесі – Следующий. (каз.)

¹⁰ «All I Think About Now», The Pixies.

Он покосился на Алана, нажал на паузу.

– Привет.

– Ты докуда едешь?

– До конечной.

– А-а. А я до Сайрана.

Из тоннеля донёсся скрип и грохот. На соседние пути прибыл поезд, открыл двери, и станция наполнилась людьми.

– Не посчитай меня навязчивым, но я так и не понял причины твоего отказа.

Рэй обхватил указательный палец, согнул до щелчка.

– Не хочу, и всё. Чё пристал?

Новичок устало смахнул мокрые волосы с лица.

– Видишь ли, эта картина очень важна, и даже не для меня, а для моего друга. Было бы малодушием так просто отступить.

– Ну так найди кого-нибудь другого.

Средний палец хрустнул звонко, вкусно, аж онемел.

– Нет. Нужен именно ты.

Рэй приподнял бровь.

– Именно тебя мой друг увидел на улице и именно твой портрет рисует. И то, что я тебя случайно встретил – поразительная удача. Я бы даже сказал – судьба.

Андрэй хмыкнул и вернулся к пальцам.

– Или совпадение. Звёзды так сложились.

– Даже если и так, – надавил Алан.

Безымянный палец хрустеть отказывался. Ухо улавливало далёкий, на пределе слышимости, шум приближающегося поезда.

– И чё? Ещё я позволю каким-то звёздам решать, что мне делать, а что нет.

Алан встал, заглянул ему в глаза.

– И всё же подумай. Прошу тебя.

Рэй обхватил весь кулак, сжал до треска, довольно пошевелил пальцами. Оскалился.

– Может, и подумаю.

* * *

По пятницам проводились спарринги. Обычно он выходил на ринг с Гжегожем, и изредка даже побеждал, но в тот день к нему подошёл Алан.

– Рэй, не хочешь со мной подраться? – он надел одну перчатку и неуклюже натягивал вторую.

Андрэй оценил его долгим взглядом. В сощуренных глазах хитрый блеск, уголок губы приподнят в усмешке. Очевидно, это было не просто приглашение на спарринг. Очевидно, отказаться он не мог.

– А давай.

Алан наконец затянул ремешок и энергично стукнул кулаками. Рэй сунул в зубы капу, азартно оскалился.

Он запрыгнул на ринг, встал напротив новичка. Поднял руки. Широко открыл глаза, расфокусировав взгляд.

Вес на заднюю ногу. Противник сосредоточен. Замах! Рэй подшагивает, собирается ударить, но едва успевает заблокировать выпад другой рукой. Отпрыгивает назад.

«Обманки, значит. Понятно».

Он непрерывно движется, норовя зайти то справа, то слева. Алан хоть и держит дистанцию, но явно за ним не поспевает.

Двойка в лицо, хук в незащищённую печень. В зубы прилетает смазанная оплеуха – не больно, но неприятно. Дыхалка начинает сдавать.

Они обмениваются ударами, расходятся, тяжело дыша. Снова начинают кружиться.

«Надо бы заканчивать. И не тратить сил».

Алан чуть опускает руки, шанс! Прямой удар, отбив, он выходит на бросок. Рэй моментально сдвигает таз, и на маты летят оба.

Удар выбивает воздух из лёгких Алана, мельчайшая задержка – и его нога в болевом.

«Отсюда не выберешься».

Рэй выкручивает ему ступню, тот пытается что-то сделать, но безуспешно.

«Сдавайся. Давай же».

Сопrotивляется. Он давит сильнее, сжимает зубы.

«Сдавайся!»

Вены вздуваются, пальцы непроизвольно сжимаются от боли, жилы каменеют.

«Ну же!»

– Рэй! Хватит!

Он выпустил ногу Алана и откатился в сторону. Поднялся, откинул мокрые волосы со лба.

– Стучать надо! Стучать! – втолковывал новичку Гжегож, хлопая рукой по мату. Тот сидел, тяжело дыша, и разминал ступню.

– Извините... Извините.

Их взгляды снова сошлись, и Андрэй победно усмехнулся. Пожал Алану руку, помог встать.

– Хороший бой, – похвалил он слегка небрежно, свысока. Новичок кивнул. Он выглядел довольным, хоть и уставшим.

– Хороший... Повторим... как-нибудь?

– Повторим. Ты только стучи... в следующий раз.

Он усмехнулся.

– Обязательно.

3

Длинный автобус-гармошка катился по улице, слегка покачиваясь на манёврах. Андрэй сидел на одиноком кресле и поглядывал в окно, на проплывавший мимо город. В левое ухо наушник изливал грохот перкуссии и визг электрогитар. Правое прислушивалось к окружению на случай внезапной

атаки.

Салон пустовал. Все сидячие места были заняты, группка студентов стояла возле терминала оплаты и о чём-то разговаривала. Впереди сидел пацан в школьной форме – совсем малой, вероятно, ещё в первом классе. В руках – телефон. В ушах – наушники. В обоих.

Старый автобус заскрежетал гнилым нутром и остановился. Зашипела гидравлика дверей, и в салон ввалился какой-то дед. Поднёс карту к терминалу, подошёл, на ходу засовывая её в карман. Встал, поглядывая то на школьника, то на Рэя.

Тот косился на него. Ждал. Собирался уступить место, но только после просьбы.

Вместо просьбы дед наклонился к первокласснику и дёрнул того за рукав. Показал кулак.

Андрэй сощурился.

Мальчик, только сейчас его заметивший, быстро встал. Не сказал ни слова. Андрэй наблюдал.

Когда старик уселся и вместо благодарности дал школьнику подзатыльник, он оскалился. Вытащил из уха наушник, встал, подошёл, схватил деда за ворот.

– Слышь, пададь.

Он был лёгкий – Рэй запросто приподнял его одной рукой. В бегающих глазах сначала появилось непонимание, затем – страх.

– Ты что делаешь! Отпусти меня! Эй!

– Ты чё к пацану прикопался?

– Он мне место не уступил! – возмутился старик. – А ну отпусти!

– Ты бы вежливо попросил, – с тихой угрозой прорычал Рэй. – Что ж ты меня не выгнал?

По автобусу пошёл шёпот. Кто-то вытащил телефон.

– Молодой человек! Прекратите! – потребовала какая-то женщина с задних сидений.

– Заткнись!

Автобус продолжал ход. Водителю явно было до лампочки. Пока что.

– Я н-не обязан... Я...

– Извинись, – с ухмылкой потребовал Рэй.

– Поч-чему это?

– Я тебя из автобуса выкину, – пообещал он.

Дед открыл рот. Промолчал.

– И-извини, – буркнул он.

– Да не передо мной! – тряхнул его Рэй. – Перед ним.

Мальчик стоял, дрожа от страха, ничего не понимая.

– П – прости. Прости, пожалуйста.

– Так-то лучше, – он выпустил старика, развернулся и на следующей же остановке покинул автобус.

Остаток пути шёл пешком.



В квартире было темно – свет раздражал расширенные от капель зрачки. Сквозь неплотные шторы остро и неприятно сиял фонарь. Он закрывал глаза руками, но лежать так было неудобно.

Он вспоминал.

– В правом глазу разрыв, Андрэй. В левом сетчатка истончилась, надо укреплять.

Он несколько раз моргнул липкими веками, повертел глазными яблоками, онемевшими, будто покрытыми лаком.

– Операция стоит, как раньше? – нарочито спокойным голосом.

– Да. Сейчас сделаете?

– Сейчас, чё ждать.

Врач кивнула.

– Позже вам чек выпишут, в кассе оплатите и придёте.

– Да.

Его волновали не деньги. Зарплаты помощника тренера вполне хватало на скромное житие, а большего и не нужно. Волновала не сама операция, безболезненная, но неприятная. Волновало его другое...

Врач со склизким звуком убрала линзу и стала её протирать. Сразу же подбежала медсестра, прочистила ему глаза

ваткой. Стало лучше.

– Месяц соблюдаем охранительный режим. Не наклоняемся, тяжести не таскаем, контактными, силовыми видами спорта не занимаемся.

Рэй кивнул.

– Памятку вам дать?

– Не нужно. Не в первый раз.

Он поднялся со стула, приоткрыл один глаз и направился в сторону выхода.

– У вас сетчатка слабая, Андрэй, – строго напомнила врач. – Вам нагрузки вообще противопоказаны.

– Я знаю, – он безразлично закрыл за собой дверь.

Волновало его даже не то, что каждая такая операция приближает его к слепоте. Волновало только, что он рано или поздно не сможет заниматься боевыми искусствами.

Долго лежать было неудобно. Хотелось бы поспать, но уснуть не выходило – слишком привык доводить себя до изнеможения. В уме лились воспоминания.

Опыт работы официантом закончился разбитыми о зубы кулаками и ночью в каталажке. Для чего-то более компетентного нужно было получать образование, что представлялось невозможным. Что ещё? Работа грузчиком отпадает. Дворником? От одной мысли тошнит.

Зажужжало. Невидимая в темноте муха пролетела справа налево, умолкла, сев на стену. Он ударил ладонью, почув-

ствовал что-то липкое. Поморщился, встал, в темноте вымыл руки и сел за стол. Вытащил телефон.

– Да? Что такое, Рэй?

– Гжегож, меня не будет неделю, – он откинулся на спинку, закинул ногу на стол.

– А что случилось? Заболел?

– Да операцию сделал. Ничего серьёзного.

– А-а. Ну давай, выздоравливай.

– Ага.

Он сбросил трубку и долго ещё сидел в темноте.

* * *

Поздним вечером третьего ноября, в одиннадцать часов сорок пять минут, в трёхстах пятидесяти семи километрах к востоку от Алматы, на глубине в шестнадцать километров столкнулись и вновь разошлись тектонические плиты.

В кратчайшее время толчок достиг города. Запищали приборы в раскиданных по области сейсмостанциях, зафиксировав землетрясение в три балла; проснулся в своей кровати Константин Хан, поглядел, недоумевая, в потолок и снова уснул; оторвался от рукописи Бродяга, прислушался и полез в интернет проверять, что ему не показалось; ничего не заметила, как и полагается коренному алматинцу, Дарина; повернулся к зазвеневшей в шкафу посуде Жарылкасын; встал под балку и включил телевизор вернувшийся с трени-

ровки Гжегож.

Спустя пару минут город вернулся к своим занятиям.

В тот вечер Рэй шатался по городу, не зная, чем себя занять. Все накопившиеся домашние дела были переделаны, все лампочки поменаны, починен протекающий шланг для душа, выметен весь мусор и протёрты все поверхности. Однако недоставало ноющей приятной боли в мышцах.

Он шёл по небольшой улице в центре города, вдоль рядов двухэтажных сталинок. Иногда проезжали автомобили, иногда – велосипедисты или самокатчики с фарами на рулях.

Он свернул в тёмные дворы, прогулялся по ним. Обшарпанные стены с проглядывающим местами каркасом, гниющее дерево дверей и оконных рам. Рыжие трубы в облезлой желтоватой стекловате, многослойные объявления на столбах. Рэй подошёл, чтобы разглядеть их ближе.

Не заметил натянутой проволоки, споткнулся, рассадил ладони. Раздражённо вытер о штаны, сорвал со столба объявление с очередным разводиловом и злобно разорвал. Пошёл дальше.

Ещё издалека слышал топот, азартные крики и глухие удары. Едва вышел за поворот, как в лицо молнией, ночной птицей со свистом рассекаемого воздуха полетел мяч. Спасли рефлексy.

– Смотри куда бьешь! – заорал он и поднял кулак.

– Кешіріңіз! Кешіріңіз!¹¹ – вразнобой закричала орава за-

¹¹ Кешіріңіз – Извините. (каз.)

пыханных, раскрасневшихся от игры детей.

Андрэй сунул руки в карманы и пошёл дальше. Драться не хотелось.

В следующем дворе царила темень, пустота и тишина, только возвышался посередине старый корявый дуб. Подул ветер, зашелестело, засвистело, застучали по асфальту железные люди. Больно и неприятно прилетело по голове, по спине. Он потёр ушибы, посмотрел наверх. Успел разглядеть падающую ветку.

4

Андрэй спустился по лестнице, цепляясь рукой за перила, медленно переставляя ноги. Чуть правее открылась дверь, кто-то вышел, остановился.

Он вошёл внутрь и оказался в торговом центре. По памяти добрёл до зала, отворил стеклянную дверь. Привычно махнул стоящим у стойки девушкам, споткнулся о маты, упал бы, если б не чья-то рука.

– Рэй! Что случилось?

Алан.

– Ха? Ты про это? – он коснулся рукой повязки, скрывающей бесполезные теперь глаза. – Несчастный случай. Ты лучше скажи, который сейчас час? Не опоздал ли я на тренировку?

– Ты собрался тренироваться? – неподдельное удивление,

даже ужас в голосе.

– Да. А что?

Молчание.

– Но как?

– Как обычно, – он начинал злиться.

– Прости, но ты только себя покалечишь...

– Закрой пасть! – он схватил Алана за ворот и занёс кулак. – Я тебе сейчас покалечу...

– Рэй! Успокойся.

Гжегож. Сзади, в двух с половиной метрах.

Он выпустил Алана, повернулся. Услышал два шага, почувствовал, как на плечи легли сильные руки.

– Андрэй... – тренер собирался с мыслями. – Успокойся. Скажи, что с твоими глазами.

Он сжал губы.

– Ветка на голову упала. Сетчатка отслоилась, и... – он развёл руками.

– Это лечится?

– Нет.

Гжегож тяжело вздохнул.

– Андрэй, ты не сможешь заниматься без зрения. Физические упражнения, разве что, но не техники.

– Я дошёл досюда и без зрения. Значит, и тренироваться смогу.

– Не сможешь, – он сжал его плечи. – Прости, Рэй, но нет. Мне... мне жаль.

Он заскрипел зубами.

– Я посижу рядом, Гжегож. Послушаю.

– Хорошо. Хорошо.

* * *

Он услышал шаги – энергичные, быстрые. Маленький Ваня, которого в секцию отдали родители пару месяцев назад.

– А что вы де-елаете?

Рэй продолжил молотить грушу. Выдавил сквозь зубы:

– Тренируюсь. Не видишь?

– А почему в повя-язке?

– Так надо.

Он постоял ещё немного, и drobный топот побежал в другой угол.

– А мы то-оже будем тренироваться в повязках?

– Делай упражнение, Ваня, – устало и строго приказал запыханный Гжегож.

Андрэй продолжал в ненависти колотить снаряд. Бил злобно, не рассчитывая сил, стирая в кровь костяшки. Он истосковался по этой боли.

Остальные уже закончили с физухой и приступили ко второй части тренировки. Отрабатывали удары ногами – ритмичные звонкие плюхи по макиварам смешивались с тяжёлым дыханием, прерывались терпеливыми объяснениями Гжегожа. Иногда и не слишком терпеливыми.

– Алан! Не отвлекайся!

Рэй с размаху впечатал кулак в грушу, и та заскрипела, раскачиваясь на цепи. Он знал, на что отвлекается Алан, на что отвлекаются другие, какие взгляды бросают в его сторону. Каждый, каждый, сука, посчитал нужным сказать что-нибудь ободряющее, пожалеть его.

Он никогда до этого так не жаждал окончания тренировки.

И всё же она закончилась.

– В шеренгу! В шеренгу! – раздались хлопки.

Рэй встал со всеми, со всеми поклонился, поблагодарил тренера. Кругом стали собирать снаряды, прощаться, расходиться.

Приблизились шаги, мягкие и чёткие. Подошедший молча переминался с ноги на ногу.

– Что, Алан?

Если он и удивился, то виду не подал.

– Тебе не нужна помощь?

– Мне? Нет.

Алан продолжал стоять.

– Хотя... – Рэй опёрся на стену рукой, прикинул. Привычно убрал волосы со лба. – Если ты поможешь мне дойти до дома, я буду благодарен. Может, даже соглашусь попозировать этому твоему художнику.

Он взял его за локоть.

– Хорошо, Андрэй. Я ему сообщу, – без радости, с неко-

торым смятением в голосе.

Ещё шаги, увесистые и уверенные. Гжегож.

– Что-нибудь решил? – его ладонь была мокра от пота.

– Пока ещё нет, – Рэй покачал головой. – Но я придумаю.

Обязательно.

– Хорошо. Звони, если нужно будет. Удачи тебе, Рэй.

И даже в его голосе проскользнула жалость.

– Давай. Я ещё найду как-нибудь, – пообещал Андрэй нарочито бодро.

В этом он уверен не был.

5

Хотелось пить.

Константин Хан сидел на табуретке перед холстом и потирал щетину. Недорисованный ангел скалился с полотна. Он был творением его рук, и был явно этим фактом недоволен.

Десять минут назад Малик позвонил и сообщил, что ему удалось договориться с Андреем, с человеком, которого он должен был нарисовать. Он радовался тому, что сможет наконец приступить к работе, но что-то грызло изнутри.

Хотелось пить.

Он вздрогнул, когда трель домофона разлилась по квартире, и пошёл открывать.

– А?

– Реклама, – раздался незнакомый молодой голос.

– К – какая реклама?

– Интернета.

– Мне?

– Нет, просто листовки по ящикам разложить.

Хан недоумённо почесал затылок.

– Ну заходи.

Разочарованный, вернулся к созерцанию картины. Вдруг понял, что ухо в этой перспективе выглядит странно оттопыренным и портит всю композицию. Да и вообще контур лица следовало бы подправить...

Резко зазвенело в голове. Он опустил голову и стал массажировать шею, восстанавливая кровоток. Хотелось пить. Пальцы левой руки ещё плохо слушались. Ангел с картины недовольно скалился. Хотелось пить.

Стук в дверь. Костя подпрыгнул на стуле.

«А это кто?»

Встал, подошёл к двери.

– Костя, открывай!

Искажённый линзой Малик стоял в подъезде и пытался докричаться. Позади него, опёршись на стену, покачивался человек, при взгляде на которого у Хана снова зазвенело в ушах.

– Привет, Костя. Я уж испугался.

– Привет, Малик, – он пожал ему руку. Повернулся к его спутнику. – Здравствуйте...

– Андрэй. Через «э».

Хан поймал его неуклюже вытянутую, впустую шарящую в воздухе руку, стиснул в ладонях.

– Проходите, проходите.

Слепец побрёл по коридору, поддерживаемый с двух сторон. Сморщил лоб.

– Как ты сказал? Малик?

– У меня много имен, – уклончиво отозвался Бродяга.

Костя не понял, о чём идёт речь, но промолчал, подставил табуретку и помог натурщику на ней разместиться. Тот облегчённо выдохнул.

– Ну... погнали, чё.

– Всё готово, Костя? – уточнил Малик.

– Да, да, сейчас.

Хан принёс второй стул с кухни и устроился на нём. Нервно облизал губы.

– Андрэй, верно?

– Можно Рэй, – кивнул он.

– Хорошо, Рэй. Нужно будет немного посидеть неподвижно. Скажешь, когда устанешь.

* * *

Ночь настала резко, за считанные минуты серый осенний день сменился сырым прохладным вечером. На кухне, в тусклом свете лампочки, этот вечер заползал в сердце, наполнял душу полубезумной горячечной хмарью.

Хотелось пить.

Рэй осторожно поднёс ко рту ложку с рисом – паби мури¹², как называл его Хан. Проглотил, запил горячим густым чаем.

– Слушай, Костя, – он стукнул чашку о стол, вытер ладонь о штаны. – Зачем ты рисуешь?

Тот с трудом проглотил последний ком риса, отложил пустую тарелку в сторону.

– Ну, есть талант, потому и рисую.

Андрэй ощерился.

– А если б у тебя талант был говно качать?

– Качал бы говно, – пожал плечами Хан. – Значит, сверху так решили.

– Сверху? – не понял Рэй. – Серьёзно?

– Серьёзно, – Костя кивнул и отпил чая.

– Нет, подожди, – он махнул рукой, – ты действительно перекладываешь ответственность за себя на какие-то высшие силы?

– Да.

– Но это же просто отказ от принятия решений! Это... глупо.

– Я принимаю решения, – возразил Хан. – Решение следовать высшему плану – это тоже решение. Я принимаю его каждый день. И я несу за него ответственность.

– Ха, – Рэй откинулся на спинку. – Интересно. Знаешь,

¹² Паби мури – рис с водой, рисовая каша по-корейски.

Костя, если бы я поступал так же, я бы остался хилым больным мальчиком, каким я был в детстве. Но именно я выковыл из себя... себя. Где б я иначе был?

– Твоя слепота – тоже результат твоих действий?

Андрэй осёкся. Когда заговорил вновь, голос его был полон тихой угрозы.

– Слышь, Хан. А я тебе и без зрения могу рожу поломать.

Костя прошёл к ящичку, вытащил из него коробку с таблетками.

– Наверняка сможешь. Не сомневаюсь.

Он выдавил из блистера таблетки, бросил в рот.

Хотелось пить.

– Что, будешь стоять и не сопротивляться? Отдашься высшим силам?

Костя налил в рюмку горькой жидкости из бутылки, махом выпил.

– Я не настолько святой, к сожалению. Сопротивляться я буду.

– Ну вот. Всё же ты не безнадёжен.

Хан тяжело опустился на стул, выдохнул.

– А ты не думал, что мы с тобой сейчас тут сидим только благодаря череде совпадений? Только поэтому у меня появилась возможность закончить картину.

– Мы тут сейчас сидим только благодаря Алану, – Рэй указал пальцем в соседнюю комнату, где лежал задремавший Бродяга. – Это его ты должен благодарить за свою сраную

картину.

– Я ему благодарен. Но откуда тебе знать, что и он не Его посланник?

– А откуда тебе знать обратное? Откуда тебе вообще знать, чего этот самый Он от тебя хочет?

В ушах зазвенело. Хан наклонился и стал растирать шею. На самом он и сам не был уверен. Сам не знал, как трактовать последние события. Как понять, чего от него хотят. Хотелось пить.

– Ниоткуда, – только и смог ответить. – Я просто делаю, что мне кажется верным. Сейчас мне кажется верным закончить наконец портрет.

Андрэй махнул рукой и встал, чуть не опрокинув стул.

– Ну пошли, закончим твой портрет. Меня уже обрыдло с тобой спорить.

– Да. Давай заканчивать.

* * *

За окном уже начало светать, когда Хан в последний раз коснулся холста кистью и отодвинулся, чтобы придирчиво оценить результат.

Надо заметить, повязка добавила ангелу на картине выразительности. Правда, теперь уже оскал не соответствовал выражению лица. Тот, кто сидел на стуле напротив него, был более спокойным и мягким, более... человечным.

Может, перерисовать портрет полностью?

Он зевнул. Смахнул с глаз слёзы, вцепился в картину взглядом.

Всё-таки блики на волосах не вышли так, как задумывались. Кое-где заметно, что повязка рисовалась сильно позже. Хотя, если не вглядываться... Хотя, если вглядываться...

Опять зашумело в ушах, захотелось пить. Он закрыл глаза, растёр шею. Неожиданно обнаружил, что второй шейный позвонок несколько искривлён. Остальные вроде бы на месте, но этот... Наверно, он пережимал сосуды, защемлял спинной мозг. Хан попробовал надавить на него пальцами, поставить на место, но ничего, разумеется, не вышло.

Вот он, несовершенный человек, собственной леностью доведший себя до такого состояния.

Он открыл глаза и увидел её. Ленивая, сонная, одна из последних осенних мух, она сидела на щеке нарисованного Рэя и взидала на Хана красными выпученными зенками.

Он прикусил губу. Хотелось пить. Шумело в ушах. Отвратительно выпирал шейный позвонок. Скалился с картины несовершенный ангел.

По подбородку из прокушенной губы потекла тёплая влага, отдающая металлом на вкус. Очнувшись, он с удивлением стёр кровь, посмотрел на неё, на картину. Резко махнул рукой, спугнув муху. Та взмыла куда-то к потолку, покружила немного и пристроилась в углу.

– Всё, – сказал Хан. – Готово.

– Ну наконец-то, – Рэй зевнул, потянулся. – Буди Алана, и давай уже заканчивать.

– Я слышу, – Бродяга сел на кровати, потёр кулаком лицо, смахнул волосы с глаз. Уставился на картину. – Прекрасно. Прекрасно, Костя. Ты... уверен?

– Да, да. Продавай её скорее, – Хан чистил кисть и складывал всё в ящик, стараясь не смотреть на портрет.

– Не хочешь ничего поправить?

– Малик, Бога ради, – поморщился он. – Никаких поправок.

– Хорошо, – Малик хлопнул по бёдрам, встал. – Сейчас я отведу Рэя и позвоню Жарылкасыну.

– Подожди, – прервал его Андрэй. – Я хочу поговорить с Жорой.

Бродяга сонно посмотрел на него.

– Хорошо. Сейчас, только умоюсь.

6

Константин Хан убирался в квартире. Сложил полотна в кучу, убрал мольберт в угол, собрал скопившийся мусор, вытер полы. На кухонном столе лежала карточка с миллионом тенге. Манила взгляд.

Надо было переводить дух и снова браться за кисть, но к творчеству не тянуло. Внутри ещё покоилась некая пустота, как и всегда после завершения картины. Обычно он запол-

нял её алкоголем, но сейчас...

Он опустил тряпку в ведро и полез под кровать. Наверняка там полно пыли и мусора. Вытянул руку, пошарил в сухой темноте. Вытащил засохший тюбик из-под краски, старый бычок...

Пальцы коснулись холодного стекла, он отдёрнул руку, как от огня. Зазвенело в ушах. Хан лежал на полу, слыша собственное сердце, сжав кулаки. Выругавшись, потянулся и вытащил находку на свет.

Малик собрал все бутылки и вынес на мусорку. Он сам его об этом попросил, незадолго после приступа. Он сам ужаснулся количеству найденного в квартире, сам пообещал себе, что больше никогда, ни капли...

Одну Бродяга всё-таки пропустил.

Она была покрыта слоем пыли, на дне плескалось немного жидкости. Благословенной, проклятой жидкости.

Хотелось пить.

Руки тряслись. Он поднёс нос к горлышку, хотел только вдохнуть запах, только на том остановиться. Глубоко вдохнул, будто в забытии, на автоматизме, давно выученным движением перевернул бутылку.

Звон выдернул его обратно в жизнь. Он сидел на полу, пальцами упершись в колени, перед мутными осколками и хрустальной лужицей, тяжело дышал. Запах наполнял квартиру, проникал в ноздри.

Хан опустился на корточки, высунул язык, почувствовал

на кончике жгучую жидкость. Выплюнул, стиснул зубы, застонал в омерзении к себе, захныкал. Схватил осколок, сжал в кулаке, горячая боль скользнула к мозгу, в котором всё жужжала невидимая муха, вернулась обратно, потекла на пол.

Хотелось пить. Никогда ещё ему так не хотелось пить.

Он медленно встал, подошёл к шкафу, баюкая пораненную руку. Выдвинул ящик, вытащил из него бритву, потрогал пальцем лезвия. Сойдёт.

На ходу раздеваясь, зашагал в ванную. Скорее!

Теперь-то он знал, что ему нужно делать.

* * *

По дороге ветер швырнул Алану в лицо большой жёлтый лист. Был он мягкий, сочный и чуть влажный на ощупь. Весь путь до дома Хана он держал его, не желая выпускать из рук.

В песочнице что-то сверкнуло. Он подошёл, присел на колени, зачерпнул холодный песок. Улыбнулся. В ладони, тусклый и потёртый, блестел крестик на порванной цепочке.

Он обтер его о штаны, положил лист на скамейку, подошёл к подъезду. Набрал квартиру Хана. Домофон пропиликал мелодию. Ещё раз. И ещё. Умолк. Бродяга снова набрал номер и прислонился к стене. Он начинал волноваться.

Трель сменилась частым писком, и из подъезда вылезла спиной вперёд женщина с коляской. Алан придержал дверь

и проскользнул внутрь.

Взбежал, перепрыгивая ступеньки, по лестнице. Долго стучал в квартиру. Подумал было, что Хана нет дома, но какое-то подозрительное чувство копошилось внутри. Он прижался ухом к двери, прислушался.

Шум воды. Едва ли Хан ушёл, не закрыв воду. Он застучал ещё громче.

– Костя! Ко-остя, открывай!

Наконец раздались шаги. Алан облегчённо выдохнул. Дверь открылась.

Константин Хан, в одном полотенце, с бритой головой в порезах и клоках волос, с бритвой в опущенной руке, со спокойным безмятежным взглядом, стоял в проходе.

– Привет, Бродяга.

– П-привет, – не сразу нашёлся онемевший Алан. – Ты чего это?

– Проходи, – кивнул Хан и исчез в глубине квартиры. Малик последовал за ним.

С его руки на линолеум капала кровь. Возле кровати Бродяга разглядел осколки.

– Я, Бродяга, в монастырь пойду. Решил я.

– В монастырь?

– Да, – Хан босой ногой отодвинул стекло в сторону, с размаху опустился на кровать. Тут же сморщился и схватился за голову.

– Ты аккуратнее!

– Да понял я, понял, – он помассировал шею и поднял взгляд на Алана. – Короче, сам я бросить не смогу. Надо в монастырь идти, там, наверно, помогут.

– Ты... уверен? А картины?

Хан отвёл глаза.

– Ну, может, пристроят стены расписывать или иконы там рисовать... Ты меня не отговаривай! Я сейчас... сорваться могу, – он покосился на бритву.

– Да зачем же отговаривать. Раз ты так решил...

Алан начинал понимать. Для человека, как он, отказ от собственной воли и однообразная монастырская жизнь была бы невыносима, но для Хана... Наверное, для него это действительно лучший выход.

– А куда ты денешь деньги? – вспомнил он.

Хан пожал плечами.

– Оплачу жировки, а остаток куда-нибудь пожертвую... Ты ведь не против?

– Я – то что. Деньги твои. Я кстати, крестик твой нашел, – вспомнил Малик.

Хан уставился на него, улыбнулся, накинул на шею.

– Вот уж выручил в очередной раз. Спасибо тебе, Бродяга.

– Да не за что. Тебе помочь чем-нибудь нужно?

– Мне, Бродяга, уже ничего не нужно, – покачал головой Хан. – Спасибо тебе за все и... я думаю, это последняя наша встреча.

«Даже так».

Он кивнул, крепко пожал напоследок запястье. Костя хлопал его по плечу.

– Не скучай, Малик. На все воля Его.

– Да уж не соскучишься. Удачи тебе, Костя.

Во дворе он в последний раз обернулся, уставился в окно квартиры, где жил Константин Хан, художник, медик и непростой судьбы человек. Пнул камешек и зашагал по двора́м.

– Бывают же такие истории, – пробормотал он себе под нос.

* * *

На тротуаре, завёрнутая в толстое потрёпанное пальто, сидела бабушка. Перед ней на газетках теснились несколько коробок с яблоками и грушами.

– Яблоки поштучно продаёте? – Бродяга указал пальцем на один из ящичков.

– Он тенге¹³, – растопырила она пальцы.

Он поискал в карманах и нашёл двадцатку. Протянул её продавщице, взял с прилавка два блестящих красных яблока, показал ей.

– Рахмет, балам¹⁴.

Он кивнул и пошёл к скамейке неподалеку, где с руками

¹³ Он тенге – Десять тенге. (каз.)

¹⁴ Рахмет, балам – Спасибо, сынок. (каз.)

в карманах спортивки, с тростью на коленях сидел Андрэй.

– Привет, Рэй.

Он резко выгнулся, как пружина, повернул голову. Расслабился.

– Привет, Алан.

– Вытяни руку.

– А?

Бродяга вложил ему в ладонь яблоко, сам сел рядом и вгрызся в своё.

– Как прошло?

– Нормально, – Андрэй протирал фрукт рукавом. – Спина побаливает, да я привык.

– Нравится?

Рэй усмехнулся.

– Не то чтобы у меня был большой выбор... Но да, неплохо.

Бродяга кивнул. Жора порекомендовал Рэя знакомым художникам, и тот уже начинал свыкаться с профессией натурщика.

– Слушай, Алан, – тот посерьёзnel.

– А?

– Если бы не ты, я бы сейчас где-нибудь клянчил милостыню. Бродяга пожал плечами.

– Я рад, что смог помочь.

– Ага, – Андрэй с хрустом откусил кусок яблока, проглотил. – Чё там с Ханом?

Алан вздохнул.

– Он в монастырь ушёл.

– В монастырь? Ха, – он откинулся на спинку, задумчиво захрустел.

Они сидели молча, слушали шум города, наслаждались последним тёплым вечером.

* * *

Закипел чайник. Дарина вскочила было со стула, но Жора остановил её.

– Сиди! Я сам выключу.

– Я тебе что, стеклянная теперь? – беззлобно возмутилась она.

– Сиди!

Алан переводил взгляд с одной на другого. Догадавшись, чуть не выронил пиалку из рук.

– Дарина, ты что... беременна?

Они переглянулись. Захохотали.

– Понятно, – Алан откинулся на стуле, улыбнулся. – Поздравляю.

Жора налил кипятка в заварник, обнял жену, поцеловал в щёку. Та зарделась. Вот они, семья, и вот он, вечный свидетель чужого счастья и чужих трагедий. Он поставил недопитый чай на стол.

– Дарина, – тихо сказал он. – Я уезжаю.

– Уезжа-аешь? Снова?

– Да, – кивнул Бродяга. – Я тут уже все дела завершил. Жарылкасын почесал затылок.

– Уже? Ну, удачи, Алан. Было здорово с тобой свидеться.

– Когда уезжаешь-то?

– На неделе соберусь, – Алан почесал нос.

– Куда поедешь? Когда вернёшься?

– Не знаю. Куда дорога заведёт.

Жора покачал головой.

– Интересный ты человек. Ну, скажешь, как соберёшься.

Бродяга кивнул.

– Скажу.

* * *

Некоторые вещи Бродяга доверял случайности. Рассудив, что на востоке делать ему нечего, он вытащил две монетки.

– Выпадет две решки – поеду на юг. Два орла – запад. Две разные – север.

Подбросил одну, другую, поймал. Убрал руку.

– Ясно.

А на следующий день выпал снег. На вокзале, перед старым вагоном, отстояв небольшую очередь, он попрощался с Дариной и Жарылкасыном, с Рэем, шагнул на поставленное вместо подножки ведро и вошёл в вагон.

Костя Хан прийти, к сожалению, не смог.

Он закинул наверх рюкзак, сам расположился на верхней полке, получил бельё, уставился в окно, за которым синело небо. Вытащил из кармана наушники.

Я сделан из такого вещества.
Из двух неразрешимых столкновений.
Из ярких красок, полных торжества,
И чёрных подозрительных сомнений...
За окном проплывали дома, машины, люди...
Я сделан из находок и потерь,
Из правильных идей и заблуждений.
Душа моя распахнута, как дверь,
И нет в ней ни преград, ни ограждений...¹⁵

От усталости он задремал задолго до того, как за окном исчез город и появилась бескрайняя, припорошенная снегом, искрящаяся звёздами туманная степь.

Я сделан из далёких городов,
В которых, может, никогда не буду.
Я эти города люблю за то,
Что люди в них живут и верят в чудо...

¹⁵ «Я сделан из такого вещества», Альфа.

Александр Кабанов /Киев/



Кистепёрая птица судьбы

* * *

Когда я щелкнул пальцами своими,
имея к детским фокусам талант:
из воздуха, в дыму, вернее – в дыме,
как гиацинт – возник официант.

Я съел салат, теперь изволю мяса,
мне средняя прожарка нынче в масть,
чернее, чем футляр от контрабаса,
ночь разевает бархатную пасть.

Люблю мечтать, но дай мне только слово —
не говорить о божестве за едой:
моя душа – священная корова,
официант, еще графин с водой.

Во внутрь обращенными глазами —
я вижу отчуждение и слизь:
зачем мы ошетинились пазами
и наши корни – не переплелись.

Мы связаны проклятьем поеданья —

во всех столовых снят переучёт,
ударишь в гонг – погибнет мирозданье
и книга никогда не расцветет.

Я приказал убить официанта —
невинное по сути существо,
не зря я был у алигьери данта
свиньей, и даже встретил рождество.

Для изгнанных всегда милей чужбина,
ну, не всегда, скорее – повезло,
и в ход идут баранина, конина,
бумага, камень, ножницы, стекло.

Мне говорил один непальский гуру:
вселенная – бордель, а не кабак,
тогда, я – член, заправленный в лауру,
и этот член не высунуть никак.ц

* * *

Оставляю вам запах – сирени аршин,
клей обойный, каминную копоть,
с отпечатками пальцев стеклянный кувшин,
и в углу – паутину по локоть.

Оставляю старинный ночной ноутбук,
неглубокую чашку для флешек,
тренажер для сплетения ног или рук,
что-то круглое... грецкий орешек!

Здесь невидимо видео-всяких кассет,
корм для кошек в хрустящих пакетах,
ящик винных бутылок – гарем, полусвет,
четверть слова о бывших поэтах.

Мне в славянской системе двойных полумер —
не видеть адмиральского ранга,
милый друг, я тебе оставляю торшер,
а к нему – абажур из ротанга.

Погашённые марки, рекламный буклет,
две открытки с родосским колоссом,
человек – это просто нелепый ответ
на пространство с жилищным вопросом.

Водосток, отправляющий всех к праотцам,
как засохшие щучьи молоки,
в этом смысле еще повезло мертвецам —
больше их не убьют на востоке.

Для кого я оставил путевку на крит —
чье-то рабское имя невнятно
шепчет память моя, крематорий закрыт,
но в египет – пускают обратно.

* * *

Куколка в чукоккалу вернулась,
в гусенницу куколка свернулась,
как свернулось слово «молоко»,
потому, что бабочкой легко —

слишком быть, обслуживая пятна,
мама, заberi меня обратно,
буду жить под яблоней и сливой —
страшной, волосатой и счастливой

гусенницей, сонно пламенея
в лабиринте, меж корней корней,
хорошо, что я не помню зла —
бабочкой ни разу не была.

* * *

Был финал сотворения мая:
задыхаясь от быстрой ходьбы —
надо мной пролетела хромая,
кистепёрая птица судьбы.

Вот, на ком отдохнула природа,
и бугор объявил перекур:
на судьбе – с головою удода
и с фасадом ошипанных кур.

Пролетела, ногами касаясь,
и упала в чужой водоем,
я – шаман, вызывающий зависть:
зависть, зависть, как слышно, прием!

Маринуется солнце в закате,
едет, едет по вызову, к вам,
на электро-своем-самокате —
безответная зависть к словам.

С ней знакомы: успешный аграрий
и бездомный поэт от сохи,
ей понравится ваш комментарий,
но она – ненавидит стихи.

И не то, чтобы это – болезное,
как мечты инвалида труда,
а похоже на чувство двойное,
на медаль – золотая звезда.

По судьбе, по любви, по закону:
вам – венок или слава нужна,
ну, а мне, благородному дону,

ваша зависть – вторая жена.

Как бессмертный аналог соседки,
ваша зависть – милее стократ,
заряжаясь вином от розетки.
прислонился к стене самокат.

И обманутый маем нагретым,
я завидую только врачам,
дням, наполненным солнечным светом,
и обильным дождям по ночам.

Я завидую всяким знаменьям,
чудотворцам воды и огня,
всем стихам, что меня не заменят,
но останутся после меня.

* * *

Кто отдал в переработку
яблони озимый плод,
солнце, озеро и лодку,
кто пустил меня в расход?

Не заметив тонкой грани
между льдом и кипятком,

может, родина, по пьяни —
гибельным прошлась катком?

Не спеша, утрамбовала
в землю, в свежее говно,
чтоб меня осталось мало:
саша — хлебное зерно.

Не ячменная левкоя,
не пшеничный царь дубов,
саша — зернышко такое,
урожай на пять хлебов.

А, быть может, я в порядке,
выжил и попал в струю:
на правительственной грядке —
верным пугалом стою?

В ожидании предтечи,
буду на исходе дней:
тайной рода, частью речи,
веткой яблони твоей.

* * *

Разбилась ваза, я подумал сразу:

вот, неплохой для текста матерьял,
люблю небрежно брошенную фразу,
отечество, которое терял.

Снаружи – алебастрового цвета,
внутри – глазурь и голубой акрил,
пускай другие склеивают это,
я – выброшу, как чехов говорил:

из сердца вон, а сам, на книжной полке,
уснул, прижавшись к гоголю – спиной,
и я, в глубоком кресле, на осколки
смотрю в тоске – у папы выходной.

Позвать слугу, так я ж его уволил,
за то, что подворовывал и пил,
я много виртуальной крови пролил,
в глагольной рифме девушек любил.

Быть одному – не то, чтобы хреново,
а скучно – постоянно одному,
с больной ноги встает над миром слово
и снова погружается во тьму.

Повсюду – лофт, где лампочка, как клизма —
разбрызгивает свет под потолком,
и я плетусь из недр капитализма —
в кладовку, за метёлкой и совком.

Какой лайфхак нас ждет в конце морали,
сюда ударный просится финал:
мне донесли, что этот текст украли
и в либеральный продали журнал.

Мне донесли, что номер выйдет летом,
что мой слуга, не только вор и гей —
он все стихи (поскольку — был поэтом)
подписывал фамилией моей.

Дмитрий Драгилёв /Берлин/



Убегая от фавна¹⁶

*Wir müssen nämlich noch dort ankommen, wo wir
sind¹⁷*

Dagmar Leupold

Стояли. Ждали взрыва.

Зевак было много, судя по фотохронике восьмидесятых. Когда-то здесь располагалась газгольдерная станция, рядом с железнодорожной. Ее долго не решались снести, хотя планы вынашивались. Наконец снесли, направленным. Дым был сед, здание оседало, таяло до состояния порошка и растворялось дальше. Что осталось? Думаю, швы. Именно они обычно остаются в наследство. А еще пустырь. Теперь серые «серийки» топорщат свои панели. Как антенны из пустыря. На которые ничто и никто не ловится, кроме дураков, вроде вашего покорного.

Впрочем, напрасно я вру. В поздней ГДР позаботились об озеленении. Крупноблочный жилмассив облагородили, снабдив парком имени Тэдди, главного ротфронтовца и красного мученика Рейхстага, узника Бухенвальда. Сам Кербель ставил ему памятник. По счастью, не взорванный после падения стены.

¹⁶ Глава из романа Д. Драгилева «Некоронованные».

¹⁷ Нам еще нужно добраться туда, где мы находимся (нем.).

Стояли. Ждали взрыва. Взрывался, когда доставали. Сдаваться не собирался. Ее было достаточно, хулиганствующей школоты в классе из сорока голов. Теперь это называется булинг. Потом уехал. В столичное училище. Наконец отчалил сюда – навстречу другой столице. Поселился в одной из коробок, тех самых сериек. Катишь лифтом, и все выше растут этажи, точнее цены на них. Впрочем, они пока еще даже сирийцам по карману. Точнее, собесу, который платит не только за беженцев. На одном из этажей в съемной квартире обитаю и я, живу на свои. Общаюсь из «пустырной антенны» с разными странами – по скайпу, зуму et cetera. Что особенно актуально в карантинные времена. Но и раньше часто случалось. Обычно с Рябчиковым – приятелем из России. У Радия Рябчикова – море кличек, ников, погонял, агентурных имен. Курочка, например, Кудкудах, Рябой, Рубидий. Однажды – дело было в эпоху предыдущего кризиса по четвертому календарю Хуучина Зальтая – он позвонил, не предупредив. За два мгновения до полуночи.

– Пять минут, пять минут... – нахально пропел Рябой. – А ведь у негров связки по-другому звучат. Иначе работают.

– С чего ты взял?

– Коллега, очень важно прислушиваться к голосам. Особенно к иностранным. Вдруг подойдут и отважно столкнут на рельсы. Как у вас там на рейнском вокзале вышло.

К легкому дуновению ужаса в беседе с Рябчиковым нуж-

но быть готовым всегда. Муссирует нашумевшее: два выродка, хорошо интегрировавшийся африканец, а потом некий выходец с Балкан попали в газетные передовицы и онлайн-вые заголовки. За непрошеную помощь пассажирам. Не собиравшимся повторять подвиг Анны Карениной. Хотя одна берлинская аборигенка недавно прокололась на том же самом. И в новостях об этом не сильно кричали.

Мне оставалось только выразительно посмотреть на Рябого:

– Звучат по-другому? – переспросил я.

– Слегка сипловато, – продолжил он, ничтоже сумняшеся.

– Неужто? Зато японцы, подчас, как птицы чирикают...

Друг с дружкой, – я подбирал слова, еще чувствуя необходимость поддержать дискурс.

– Ты хотел сказать: как рябчики?

– Как ненцы.

– Немцы?

– Эвены. Эвейну Шолом Алейхем. Престарелые камчадалы.

Рябой кисло кашлянул. После такого кашля можно смело смотреть на часы: первый признак озабоченности тем, что разговор грозит затянуться. Сказать по правде, Рябчиков охотно ворует чужое время и на такие индикаторы не реагирует. Вот и мой демонстративный жест пропал втуне, закругляться приятель не думал.

– Признаюсь честно, твоим сумбуром вместо музыки бы-

ло забавно сопровождать отход ко сну, – сказал он, уделив мгновение для зевка. – Певицу ищи другую. Устрой просмотр, сделай кастинг. Молодую девочку, чтобы танцевала, и голос желательно. Не обязательно афроамериканку. Просто маленькую нежную солистку с неопознаваемым акцентом. Короче, поменьше меланхолических баллад и оперетт. И вообще, сдалась тебе твоя Германия-Гевеллия, туманная, пасмурная, с перерывами на Майорку. С прусской муштрой местных фрушек и прогрессивными мутациями наших. – Рябой отхлебнул пива. – В сторону наибольших претензий. Ищи в другом месте, где-нибудь поближе к норвежским фьордам. Или к Альпам... Но постарайся без филармонических голосов обойтись.

– Тогда объясни скрытый смысл? Йодли тирольские собирать?

– Pourquoi pas? Создай себе собственную феерию, не депрессивную Гевеллию, а Гельветию. Зачем виртуальные рощи? Мнимые эмпиреи. Баснословные, банановые. Кому он нужен, бесконечный нагоняй туземок? Поддавки с родимыми оппонентками. Конь остановится перед бабой, если она на полном скаку стреляет чем-то, отдаленно напоминающим трезвый мотив. Ее эмоция всегда наполнена тараканами и тумакami. А в Гельветии туманы лишь иногда наплывают, и только с афишных тумб...

«Ох, туманы, растуманы, собирались в поход растаманы». Рябой намекал букетом на мои: а) недавние терзания с быв-

шей подругой-немкой, б) терки с наследовавшей ей Непостижимкой. Тоже почти уже бывшей. Наконец, на трения (не петтинг!) с темнокожей солисткой, большой любительницей травы, едва не дошедшие до суда. И сиюминутное желание все бросить. Но я всякий раз задаюсь вопросом, как этот тип умудряется выдавать перлы цепочками.

– Если надоест вкалывать во вшивом эмигрантском газетеньше, отводя душу за кружкой и кружковой работой, за пошлыми записями никому не нужных песен, просто сядь к столу и пиши. Поставь в Альпах свой стол. Нет в мире лучше мест для писания. Торопись, пока границы открыты. Кто знает, что нас ждет. Природные катаклизмы, дальнейшее переселение народов, обособление отдельных государств. Социальные взрывы. Военные вирусы.

– А я и так пишу. Только не знаю, какого... Вот рассказ про детство пианиста Игоря Панталыкина закончил. О его первой любви.

– Нашел героя. Или ты соревнуешься с классиками? – Рябому явно хотелось меня задеть.

– Зачем? Вообще, зачем писать? Уже всё есть, – сказал я вяло.

– Места знаешь? И где? – веселился Рябой. С ним только начни.

– Я говорю: всё есть!

– У тебя?

– Да я при чем.

– Знаю, что ты хочешь сказать. – Рябой скривил язвительную мину. – Все было. Схвачены и переданы самые тонкие чувства, самые сокровенные и заковыристые движения, потайные ходы, эксгибиции и амбиции, самое невыдуманное и немислимое. Все ходы записаны, места открыты, изучены и отданы на разграбление туристам и телевизионщикам. К тому же в Z жил когда-то твой друг, женатый на местной. Но на Утлой Горе можно принимать парады коров. Напишешь об этом.

Рябчиков едва не настроил меня на свою волну. Едва. Моя бывшая жена (велика галерея отставок!) считала, что желание писать – это порыв, нет, это нарыв, который подлежит лечению. Особенно, если речь о прозе. Кому нужен нарратив тягомотный, мало что ли нарратива в нашей жизни? Уж лучше слушать устные рас сказы, много ценнее. Куда более серьезная проблема – желание опубликоваться. В «Берлинском Китеже» не поймут, если я подсуну им беллетристику. Какая стенгазета опубликует вдохновенные мысли? Многотиражка какого завода? Конечно, газета может называться просто и крепко. «Первопутук» – хорошее русское слово и редко используется. Но сейчас стенгазеты не в моде, эта функция перешла к граффити. А еще к блогам, тегам и мемам. Блогеров, вон, пруд пруди. Самодовольных, фэйсбукающихся, шустрых ребят, мелких тусовщиков, иногда – игроков вполне реальных. Резких и резвых. Пукнул – и в сеть. За-

чесалось подмышкой или под каким-нибудь другим зверем – снова в сеть, в надежде на несмолкаемые лайки и смайлики. Смайлики вместо софитов.

Для любителей жить по старинке, мнящих себя Львами Толстыми, нет, жирными светскими пумами, в цене пятисот-страничные романы, тут же попадающие в зубы славословящим рецензентам – на радио, например. Физиономии рецензентов излучают уверенность. Самое главное – чтобы благосклонные критики, податливые журналисты и прочие спецы по хайпу наготове были. Тогда 500 страниц суть мандат и пропуск в будущее, на ярмарку тщеславия, выставку амбиций, само- и честолюбий. Под вспышки пиара на красных дорожках и белых скатертях удобно разблюдованного пира. Мира. Или войны. Но высший пилотаж – это когда ты вообще ни гу-гу, ни строчки, и негры твои, рабы, гострайтеры – ни слова. Однако сам – виват, дутые репутации! – раскрученным писателем числишься.

И все же гораздо лучше – кино. Не потому, что важнейшее из искусств. А поелику разящая визуальность. Телевидение тоже неплохо. Заснять бы то, что происходило. Чтобы воскресить деда. Его песни, мои шалости. Как в Карлсона играли, как с одноклассником толь сарайной крыши палкой протыкали, и к дверям спешила соседская поленница, как тот же одноклассник девочку соседскую с лестницы спустил, страшно подумать! Предложил на корточки сесть, голову пригнуть, тут она и покатилась. А, может, и не так все

было. Не помню точно. Шпингалет на сарае. И сам шпингалет.

– Слушай, чувак, а почему ты меня Рябым называешь, а? – послышался голос Рябчикова.

Неожиданный и банальный выпад заставил меня ответить Рябчикову в его же ключе:

– Ты хочешь, чтобы я называл тебя Жуй?

– Я тебе дам, жуй! Сам пожевал, передай другому?

– Уже и крылатую фразу нельзя применить. Что-то ты возгордился. Или стал чересчур обидчив. Кстати, кстати... Жуй Рябчиков неплохо звучит. Почти как Жорес Медведев.

– Предлагаю новое погоняло. Сплеча, – Рябой решил смягчить разговор.

– Какая еще свеча?

– Не свеча, а сплеча.

– Ну, тогда сразу «Рубильник». Только по-немецки. Schalter.

– Подожди, шальтер – присутственное окошко...

– Ошибаешься, у шальтера дофига значений. Но можно изобрести что-нибудь помощнее. Например, Schraubenzieher сиречь Augenentferner.

– Короче, вырви глаз, – попробовал подвести промежуточный итог Рябчиков.

– Вырви глаз, Аvas, доцент тупой, полный Козьма Прутков. Ты предлагаешь мне писать очерки на немецком?

– Ну, если не хочешь, чтобы тебя читали только наши

диаспоральные деятели. Читали и считались... А пока проветрись. Прошвырниись к нейтралам, к «швам» – шведам или швейцарцам.

Вот тебе и швы, подумал я. У каждого свои. Швы или вши. Тараканы. Вывихи. Вирусы. Переломы. Ожоги. Подставляй, пока утюг горячий.

– По-твоему они отдельный народ, швейцарцы? – мне очень захотелось сказать какую-нибудь глупость. – Как самостоятельную социальную группу я выделяю швейцаров.

– Горные люди, как чечены, – как-то походя отозвался Рябой. Он уже стал собирать по столу бумажки. – Только чечены еще и горячие люди. У них все через край. А у этих не то что бы никаких чувств. Но на точке замерзания. Кстати, данный факт и делает непобедимой швейцарскую нацию, состоящую из сыра, часов, банков и шоколада. А в придачу к ним – гельветов, галлов и... – Рябой запнулся. – То есть германцев, ретороманцев и французов. Конечно, есть еще гарибальдийцев горстка. Макаронников. Но главным представителям вообще ничего не грозит, потому что все давно вверх дном. Тем и спасаются.

– Это где, в Гельветии все вверх дном?

– Полюбуйся на нефы. Неф – опрокинутая лодка кирхи. Любая кирха строилась оверкилем. Днищем кверху.

– Можно подумать, что в других местах по-другому. Устремил свой взор на берлинскую Котти, станцию эстакадки. Подними глаза, когда ты внутри. Там шпангоуты на по-

толке. А потом подумай, может ли эта штука плавать... И, между прочим, побойся бога. Каким еще днём!

Рябой пропустил мою реплику мимо ушей:

– Будешь рядом, прищурившись как Ленин, кормить цаплю. На Труверском озере. У данной акватории вечерами вода цвета маренго и вдоль берегов растет модная волчья ягода дереза, она же гоуци. Она же годжи. Ядовитая Дафна, убегая от фавна, попала в борщ. Или в кувшин-вазу. Будучи принята за орхидею. Поглазеешь на девушек с этюдниками, сделаешь свой поэпизодник – что за чем. На пятый день заговоришь как они. Как твой любимый джазовый музыкант заговорил в документальном кино голосом Бодо Примуса.

– А твой любимый музыкант, кажется, Густав Бром? Который никогда не действовал усыпляюще?

– Кстати, пора спать. Я выключаюсь.

– Подожди.

– Чего ждать? Я уже замерз. Тебе не надоело созерцать мой торс в обвислой майке?

– Не топишь, голубчик.

– А что делать? Если бы квартира держала тепло, как термос.

– А плесень?

– С плесенью нужно уметь дружить.

– Ты хотел сказать с Плэсенским...

Интересно, дружили ли с плесенью на газгольдерной стан-

ции. После того, как из нее вынесли всё оборудование и она стояла пустой. Главное зашпаклевать, а потом и задрапировать швы. Задрапировали ли вы швы, оставшиеся от детства, от школы? Или у вас их не было? Земля, молилась ли ты на ночь? Чтобы на следующий день без взрывов. Без вирусов. Я помню, как в доскайповые и домобильные времена мы дружили и воевали, как были пранкерами, чуть ли не первыми в своем роде. Рябчиков по моему наущению звонил в местный штаб ДНД. Нынешним жителям планеты уже нужно объяснять, что это такое. Добровольная народная дружина помогала милиции: записавшиеся в нее особо сознательные граждане с красными повязками на рукавах, а иногда даже со значками на груди патрулировали вечерние улицы в некоторых районах. Или просто сидели в означенном штабе и резались в домино. Как в клубе собственном. В клубах сигаретного дыма. Был у дружинников свой начштаба, был и командир отряда. Выяснив ФИО – имена, отчества и фамилии этих ответственных лиц, поручил я как-то Рябчикову звонить в ДНД. Как оказалось, командиром там был мужик по фамилии Плесенский. Именно Плэсенский, не Ясенский, не Краснопресненский и не Плисецкий. Звонили мы из моей квартиры, где к телефону Рябчиков каким-то хитроумным способом подключал магнитофон: как он это делал, я не ведаю до сих пор.

– Василия Трофимовича можно?

– Это я.

- С Новым годом!
- Что вы хотите с Новым годом?! Кто у аппарата?
- Это Плесенский.
- Где Плесенский? Почему, какой?
- Тот самый, Петр Андреич!
- Ну это вы врете!
- Не вру (молчание).
- А че у тебя такой голос?

Потом с кассеты, на которую шла запись, стирались слова Рябого, оставался только Василий Трофимович. Зная, что фамилия командира отряда совпадает с фамилией самого вредного нашего одноклассника, мы звонили другому соученику, нажав кнопку воспроизведения. Ошеломляющий результат получался!

- Але.
- Это я.
- Кто?
- Что вы хотите с Новым годом?! Кто у аппарата?
- Офигел да?
- Где Плесенский? Почему, какой?
- Какого х... ты звонишь? В морду дам!
- Ну это вы врете!
- Ах ты падла.
- А че у тебя такой голос?

И как тут не взорваться. Я его понимаю. И даже знаю, по-

чему все это осталось в памяти. Но только отчего в сусеках башки застревает разная чепуха, не связанная вообще ни с чем. Например, улица города Шверин, ведущая к вокзалу, или упоминание городка под названием Бризеланг, просьбы моей тогда будущей (ныне – бывшей) жены привезти ей из гавелянского леса огурцы и майонез, именно майонез и огурцы. «Они там на деревьях не растут», – возражал я. В Швейцарии жена была, в отличие от меня. Ездила и в Австрию. По объявлению. Крестьянские хозяйства в австрийских Альпах ищут себе летом помощников, которые могут бесплатно пожить у них. Заодно подсобить. И даже что-то подзаработать, хотя бы символически. Моя решилась на такой подвиг, вариант сельского туризма. Подумала, что все складывается как нельзя лучше: натуральные продукты, свежий воздух, вечером пешие переходы. В итоге ее там какой-то дед запряг и упыхал по полной программе. Подъем в семь утра и все такое прочее. От зари дотемна. Иногда звонила мне оттуда, имитируя тирольский прононс.

Но на пранкеров высокого полета мы не тянули, конечно. Ни Рябчиков, ни я, ни жена моя. Мы ведь не дурачили президентов и Нобелевских лауреатов. Хотя номером телефона одного писателя, который очень рвался в скандальные политики, однажды обзавелись. Разжились – я и Рубидий. И в школьные времена воспользовались. Звякнули ему. Пригрозили, что будет кормить рыб в заливе, если и впредь продолжит свою подрывную работу. Как будто чувствовали: стоит

случиться взрыву – а запах из пороховой бочки все больше сочился по улицам, экранам и газетам, раньше охотно подставлявшим себя под водку, воблу и огурец – жить нам, так или иначе, придется в другой стране.

– Плесенский твой наверняка давно стал каким-нибудь кантонским буржуем. – Услышал я опять голос Рябого.

– Какой из них? Одноклассник или дээндэшник?

– Думаю, оба. Вот и выезжай к ним, у них действительно полные закрома. И ближе, чем до Швеции, – Рябой замедлил темп речи, слегка повысив голос, – выезжай завтра же, автобусом.

– Завтра не смогу. Меня на съемки пригласили.

– Что за съемки такие?

На секунду мне показалось, что Рябой, для которого любая беседа – несмотря на всю его собственную внешнюю эмоциональность, экспансивность, умение «заполнить собой пространство» – всего лишь ни к чему не обязывающий смол-ток, способен всерьез удивиться.

– Голливуд фильм снимает. Из жизни египтян времен Птолемея 16-го.

– С Людовиком не путаешь?

– Не путаю. Емелю прислали.

– Мы с Емелей-Птолемелей. Я думаю, Птолемеев было меньше. Штук десять. И фильм должен называться «Птолемей на печи». – Рябой опять отвлекся и напевал уже что-то

себе под нос. — Потому что ночь тиха, ночь тепла, спать ложиться пора. Как сформулировал артист Хенкин. А дети — не помеха, как пишут в объявлениях рубрики знакомств.

Я отошел от компа.

— Эй, ты где? И кого нужно играть? Как всегда статист?

— Примерно, — мне подвернулось любимое выражение бывшей жены. — Вот, послушай, что пишут: «Указание мужчинам: лицо чисто выбрито. У женщин маникюр». Гениальная фраза.

— Не гениальная, а генеральная, как будто могло быть наоборот. Усы сбривать будешь?

— Не дождетесь. Взрыва легче дожидаться. И вируса.

— Какого?

— Не суть.

— Ну так что, по люлям? — нетерпеливо гудел Рябой.

— Тебе рано вставать?

— Нет, просто холодно и сыро.

Станным образом я задерживал Рябчикова, хотя мне уже давно надоел и этот разговор, и его нудный голос.

— Кстати о сыре. Корешей и вонючий сыр в Германии называют иногда старыми шведами, — брякнул я без всякой надобности. — Хотя на сыре вроде бы швейцарцы специализируются. А то, что ты про точку замерзания изрек... Я, честно говоря, думал, что богатырское спокойствие как раз для старых шведов характерно.

— Стереотипы. Давай вернемся к твоему кино.

– Я тебе все рассказал. Еще обещают в Люксембург пригласить.

– Опять фильм?

– Не суть.

– Да, что ты заладил, не суть, не суть. Как барышня! – напоследок Рябой решил выразить недовольство. – Между прочим, Люксембург... занят. Однако хороший бензин там дешевле.

– Что-то я тебя не понял, кем занят? Не смог дозвониться?

– Не кем, а чем, – Рябой снова зевнул, – народ там занят управлением. Управляют всем Бенилюксом. Но Швейцария лучше, несмотря на цены. Цены высокие у всех «швов». Шведы, правда, не любят русских. Со времен короля Карла. У них даже выражение есть: ты что, русский? Это, если кто-то козлит. Или злит. Или мозолит.

Тут Рябчиков задумался и произнес неожиданно-распевно:

– Можно, правда, рвануть и в Грецию. Вместо Гельветии...

И добавил жестче:

– Ведь греки – это не нация, а идея. Идея справедливости. Человек, отрицающий данную идею, не может считаться греком. Ты слышал, что первым коммунистом был комедиограф Аристофан?

– Чего?

– Да, да, не удивляйся. У Аристофана бедность в споре с

богатством говорит, что именно она – двигатель прогресса. Будь все богаты, человеки не пошевелили бы и пальцами. Не обойтись нам без комиссаров в огромном море компромиссов. Пойду спать.

* * *

Ощущение, которое подарил следующий день, трудно облечь в несколько фраз. Казалось, что со всего города явились люди без места и жалования по случаю сезонных работ. В большом павильоне – не съемочном, а соседнем – угрюмый и монотонный народ (редкие красивые женщины где-то растворились) выстроился в очередь – кто за, а кто уже с листочком. Не фиговым, а розовым. Розовый лист надлежало заполнить, как заполняют рабочую карточку. За ширмой ждала пресловутая «костюмерная-примерочная», в действительности – общая раздевалка, зрелище унылое. Ну а потом...

Под крики и вопли ассистента режиссера, Греблипс появлялся незаметно, снимая мизансцену на смартфон, давая главному герою какое-то слабительное для глаз, капли особые, чтобы тот расплакался. Актер плакал, прислонившись к парапету. Ему плохо. У него неконтролируемая реакция. Утешал сам Греблипс. Ассистент ограничивался простыми и известными мне с чужих слов командами-предупреждениями: камера движется (по-нашему: мотор), Action (то бишь,

начали). Статистов распределяли по седине, количеству растительности на лице, типу костюма. Костюмы, между прочим, с легким налетом несоответствия эпохе. Однако, не о документальном же кино речь, а триллер все спишет. Фильм о высадке власовских парашютистов из Риги на берегах Печоры, в местах, куда ссылали кулаков. Взрыв собирались устроить заславшие их фашики. Лучше бы гребаный Греблипс снял кино про моего деда. О том, как дед, вернувшись с передовой, маленького сына своего по всему блокадному Ленинграду искал и чудом в приюте нашел, а потом по «дороге жизни» вывез. Или о том, как бабушка железную дорогу Астрахань – Гурьев строила. Как еще до войны была приглашена в Кремль в кабинет Орджоникидзе – вместе с другими передовиками оборонной промышленности. Костюмированная драма точно получилась бы. Но сюжеты про империю зла и про то, как в ту пору шились дела, Греблипсу ближе.

На берлинской кинофабрике никто ничего специально не шьет, в самом крайнем случае штопает, перешивает. Обычно статистов наряжают во что придется. Что нашли – то нашли. Прямо по Жванецкому: кинулись, а танков старых нет. Зато швов не видно. А также шведов и швейцарцев. Драпировка сплошная. При необходимости, так сказать, «на выходе» – поможет компьютер. Зато следят за мелочами: разносят галстуки и носки, пришедших в собственных костюмах (есть и такие) пересаживают в задний ряд, хотя крупных планов мало и в кадре массовка все равно сольется в

экстазе, превратившись в одну пульсирующую и размытую массу. Очкарикам приказано обходиться без диоптрий даже во время короткого перерыва. Кое-кому выдаются окуляры с простыми стеклами. Принцип раздачи, видимо, произволен. А еще вручают сигареты: постановочная группа убеждена, что в советских судах нещадно курили. На судах, наверное, курили, какие-нибудь капитаны-боцманы, а вот в судебных инстанциях и прямо во время слушаний по делу? Не уверен.

Я обратил внимание на бессловесного генерала – вылитый Жуков, внешнее сходство поразительно, покруче, чем у народного артиста Ульянова. Ряженный сидел в первом ряду среди других военных и трудно было поверить, что это не сам творец Победы. Вот уж точно, интересная технология: сначала решается вопрос, как обывателю стать статистом, потом – как превратить статиста в Жукова. Но тут организаторы съемок не просчитали все до конца: по статусу ряженного, пришедшему на воссоздаваемый год, ему полагались погоны маршала.

Вообще вопрос сходства меня давно волнует. Даже Рябчиков со мной согласился: все уже было на нашей планете. Наслаждаемся новыми экранизациями, повторами, переизданиями, перелицовками или, как их там называют ученые люди, подскажите... Ах, да, римейками, сиквелами, симулякрами и муляжами. Как кто-то, опять же, выразился, простор живет повторами. Есть близнецы естественные, это когда общность по родству. Так внутренности Риги похожи на

Берн, Берн, вероятно, похож на Львов, улицы Львова (где-то в чем-то) напоминают Вену, Вена, возможно, Женеву, Вюрцбург Прагу, Прага, отчасти, смахивает на Z. Вполне понятно и объяснимо. Архитектура, она всегда что-нибудь отражает. И могла бы быть германской даже в бывшей африканской колонии, если за дело брались немцы с консортами. (Нужно как-нибудь съездить в Намибию, проверить.)

* * *

Следы моих дискуссий – любых, и с кандидаткой в тещи, и с Непостижимкой, и с Рябым, как критические газетные статьи в тех углах, где от стены отодраны обои. Вот он подлинный палимпсест, культурные слои. Но я докопался до главного: моя проблема заключается в необходимости постоянно что-то кому-то доказывать! По долгу службы – как правило. Нарботанного авторитета никогда не бывает много. Всегда найдется кто-нибудь, кто поставит его под сомнение. Да и на досуге или, скажем так, внеурочно, когда досугу самое время и место случиться: какое там – отдохнуть, привести в порядок чувства, мысли или хотя бы арендуемую квартиру! Ведь вновь продолжается бой.

Приходится убеждать, штурмовать и завоевывать. Женщину, публику. И даже друзей. В центре баталий оказываются те же Непостижимка, Рябчиков, Панталыкин, с которым я в провинции познакомился. Я же мечтаю попасть в зону

свободную от гонки и выпендрежа. От конкурса. От домогательств, молчаливо толерируемых даже МеToo. Чувствительная или раззадоренная женщина, проникшись интересом ко мне, не подозревает, какими сомнениями и угрызениями томится ее ухажер. Это едва ли не страх перед возможным развитием событий, я имею в виду взрыв эмоций. Ведь, чего доброго, все всерьез. Тогда придется вылезти из футляра, из пескарства привычного, из дежурного ухаства, отчасти приятного, но условного и временного, конечно. Из пещеры, а может быть даже из кожи, уютной только для меня одного. Ответить, как будто, нечем, ведь что я могу предложить – в соответствии с нынешними мерками и запросами? Вообще ничего. Ничего, кроме любви, по Армстронгу – коль скоро мои эмоции возьмут верх. Или их контролируемого отблеска, на манер «Записки» Шульженко. С Непостижимой я рискнул, поддался, почудилось что-то. Выложился по полной. В итоге все мимо, мое изшкурывонное мельтешение оказалось ненужным. У нее свои триггеры, травмы, она в девяностых выросла, не знаю, кто и как над ней издевался в той, отечественной жизни. Говорит, что отец. Сравнивает меня с ним. Дескать, похожи. Только отец – злой, а я добрый.

Вечером, когда я вернулся с греблипсовских съемок, по радио выступала ВЧ. Высокочастотная выпрренная чувствительность. Хотя слово «выпрренно» к ней не подходит. Читала какую-то новейшую немецкую прозу о России. Мы не

виделись дюжину лет. Потом звучал джаз. Как по заказу. Потом Шостакович. Первый концерт для скрипки с оркестром. Исполнение предварили словами: «Шостакович сочинял это произведение в стол (по-немецки фраза звучит еще конкретнее – «для шифлетки»). Поскольку заранее знал, что оно не устроит вождя. Ведь Сталин предписал композиторам создавать музыку, способную воодушевлять народ, звать рабочих и крестьян в мир новых великих свершений». Посвятив слушателей в исторические подробности, ведущий тут же прокомментировал: «Мы ничего не имеем против воодушевления, но считаем, что музыкой, которую вы сейчас услышите, можно окрылить всех». Не знаю, на сколько окрыленным почувствовал себя ведущий, когда из динамика достойной издевкой стала сочиться депрессия первой части, sprysnutyaya в последующем легким намеком на гротеск. А после скрипичного концерта давали седьмую. «Как открыто, как мягко звучит маршевая тема у дирижера Дрексерля, это просто восхитительно!» – неистовствовал комментатор.

Полчаса спустя, в поток эфирных блюд, столь странно сервированных, ворвался извне, как водится, Рябчиков. Позволил на закусь.

– Слушай, Паша, – остервенело гаркнул он в трубку, – вы ждете взрыва?

– То есть? – я попытался уменьшить градус его эмоций.

– Ты в самом деле не понимаешь, или делаешь вид? – Рябчиков принялся хамить. – Повсюду только и говорят о том,

что дальнейшая миграционная политика правительства приведет к социальному взрыву. Правые чувствуют себя правыми, или, как минимум, спровоцированными, и используют ситуацию как хороший повод для перехода к активным действиям. Вам мало латентных разборок в саксонской столице ландышей? Теперь еще городок, в котором Иоганн Себастьян долго обитал, подключился.

– Погоди, погоди! При чем здесь я?

– А я разве сказал «ты»? Я говорил «вы»! И вообще дело не в местоимениях, – Рябой на секунду сбавил обороты, даже как будто сник, однако чувствовалось, что в моем лице он опять дорвался до свободных ушей.

Лицо с ушами. Но самостоятельно живут затылки и уши, а лиц не видно – учил Мандельштам. Правда поэт говорил про толпу. А разве мы не толпа? Приохотил я Рябчикова. И что сказать мне этому больному болвану? Какое прописать лекарство? Нетрудно себе представить, что за постулаты возникнут в голове Рябого, посыплются из него, вяжись я в очередной разговор. И что мне будет, что прилетит за внимание к его рассуждениям. Я решил напаялить на себя колпак комика и паяца:

«Еще лучше, Радий Васильевич, еще лучше. Если бы речь шла обо мне, тогда допер бы я, что ты мне опять свою Гельветию впариваешь, предлагаешь в эдем цизальпийских буренок убраться. Но во множественном числе? Так кто, с позволения сказать, имеется в виду? Вы – это кто? И сколько нас?

Обратись-ка ты лучше за разъяснениями в ведомство федерального канцлера или в резиденцию президента. Да хоть в Бундестаг. Там помогут».

Эх, Берлин слишком часто похож на безразмерный безалаберный балаган, с этим я готов был согласиться. Да, пресловутая толерантность, торжественно провозглашенная, на поверку оказывается дурно пахнущим фиговым листком. Бессвязные обрывки лозунгов доносятся отовсюду. Но лучше разбираться предметно, повздошно. Вздых первый. В каком бы качестве мы ни прибыли – в роли немецких переселенцев-возвращенцев, по сути – репатриантов, или на правах еврейских контингентных беженцев, на какие корни бы мы не пеняли – все равно мы народ пришлый. Спасибо стране, что рискнула возместить собственные потери. Утраты времен Екатерины или Второй мировой. Кто-то из нас искал историческую родину, кто-то – защиту от бандитов, лучшие социальные рессоры и ресурсы, взамен новых российских. Стремный молодой рынок, воцарившийся на родине, что простилась с последними остатками привычной советской власти, радовал самых отчаянных. А тут и миллениум подоспел. По третьему календарю ХЗ. Хуучина Зальтая. Однако в нулевых и десятых на берлинщине первым делом во все не арабские пловцы высадились. Выловленные в Средиземном море. А русские айтишники, по-хозяйски располагающиеся в любом кресле. Для них везде лакомые куски рас-

киданы. Это вздох второй. Новый виток. Теперь вздох третий. Самодовольные пилигримы разного рода, русские опять же: псевдоэксперты, нежно имитирующие первооткрывателей, цифровые кочевники-фрилансеры, орудующие отовсюду, бизнес-мигранты, ловцы ВНЖ. А еще автономные либералы – им старый Запад как мощный моральный лабаз, роднее по определению.

Теперь все они – в роли гордецов неформальных и победителей независимых, или, якобы, анархистов, бегают по кругу. Будто белка у Саши Черного по карнизу – более или менее жизнерадостным курцгалопом. Кто-то, не пропуская ни одной клубной вечеринки, не брезгуя никакой клубничкой, отвязно и усиленно повышает уровни вибрации и кислотности. В угаре кричит, что кругом абсолютная свобода. Снаружи и внутри. Только празднуют эту свободу уже не дети, а внуки цветов. Пароль: «Мы родом из шестьдесят восьмого». Другие себя альтернативщиками объявляют, кричат «Дом горит!». Кликушествуют, оповещая о своих открытиях. Их Гитлер действовал в интересах «еврейской ставки». Артур Руппин, дескать, направлял, магдебургско-берлинско-тель-авивский проводник Баухауза. А присягать и служить нужно исключительно имперской конституции, поскольку новую не приняли, имеются лишь субституция, эрзацы – Основной закон и Гражданское уложение. Опаньки. Тут бы либеральным цветочникам посерьезнеть. Однако их не сильно заботят альтернативные чудачки. Ведь да-

же другая белка, отрицаемая, но периодически подступающая, плюс – неизбежная зависимость от определенных правил и регламентов, распоряжков и установок (не говоря уже про требования и контроль инстанций, ведомств и контор государства), никого не смущают. Воля! Ренессанс, декаданс. «Художественная гиперплазия и идиосинкразия» – говорит доктор Кислицын. Стряхнув послеугарный сплин, сочиняют, рисуют, танцуют. Поют что-нибудь. Все креативные и искушенные. Все умные и безумные. Стремятся быть на виду. Суррогат на-гора. Качество не в счет. А почему бы и нет? После Бойса и Бреннера. Клоуна да, канонада, преодоление канонов. Каждый стреляет в каком-нибудь тире. С красными глазными белками в глаза третьих белок. Расцвет народного творчества в колхозе «Рассвет». Пора записываться в Антифу. Выходить на маёвку. Ведь в красный день календаря – 1-го – драки по Берлину и загадочный Белтайн. А если Антифа в самом деле состоит из одних провокаторов?

По словам Панталыкина, в конце марта самые продвинутые воспевают Остару, она же Кибела, и, кажется, сосну. Но зря ли поэт задавался вопросом, куда в мае идет тополь. В чем заключается майский механизм деревьев? И только Рябчиков смотрит в воду. И на нее глубокомысленно дует. В этой воде то и дело чувствуешь себя мудаком. Или в этом городе? От неполиткорректных мыслей слегка подташнивает. Сам вроде бы шальные и сальные вечеринки не посещал. Только общался с завсегдатаями. Или они заразны, как ви-

рус? В черепе кружится то страшный зверь-бурундук, то его хвост, то какой-то горно-обоганительный комбинат. Работающий с помощью... (как это называлось?), ах да, экспликации. Хвосты, но другие. Отвалы. Пустая порода. Терриконы. Давайте поговорим не о счастье, а об охвостье. Мой царь, живи один. Как смелый андрогин. Мужчины превращаются в женщин. Или в охвостье женщин. Женщины – в мужчин. Или всегда были ими. В центре – Кибела, а не Афродита. «Она еще не родилась», – утверждает Мандельштам. И, видимо, прав. «Там было три хвоста», – дополняет Соснора. И я согласен, если вы ссылаетесь на поэтов. «Я – твоя вечная провокация», – говорит мне Непостижимка и виляет хвостом. Балансируя на грани ухода. Кислицын-младший, Ким, старый друг, которого русская жена уже бросила, а немецкая пока не нашлась, без задней мысли любителю на лис, осадивших берлинский рефугиум. И не ведает, что в полабской народной песне для церемонии свадьбы предусматривались разные кандидатуры. Самоотвод взяли все, включая сову, которую определили в невесты. Но лишь лисица согласилась с тем, что на ее хвосте будет накрыт свадебный стол. «А Ипполитовка – печать на хвосте, – умничают Панталыкин. – МУИИ». Что это, звериный возглас? Нет, аббревиатура всего лишь. Обозначающая Музучилище им. Ипполитова-Иванова. Мой случай. Или консерватория – как у Игоря. Выпускники указанных яслей убеждены: если через полчаса после того, как открыл ноты, ты не способен их сыграть на-

изусть, значит нужно устроиться сантехником. Или газетчиком. Поскольку люди – источники грязи. Необходимо помогать им бороться с нею. Не осилил путь возвышенный? Обратись к бытовой химии! А с газетой можно сходить в туалет. Особенно в ситуации, когда химикаты, а также бумажные бигуди, перфорированные рулоны в связи с очередным вирусом раскупили.

«Ты цел?» – спрашивал меня Рябчиков после того, как исламист устроил теракт в центре Берлина. Нагнетать страсти по все мирному халифату горазды все, видеть угрозу в беженцах. Но из-за вируса они застряли на островах. От ошалевших бацилл вообще бежать некуда. Разве что в Антарктиду. Камин сгорел уже давно. Вместе с порталом. Примеру последовала Аляска, потекла вечная мерзлота с Альп, из Сибири. Юные беспокойные активисты организовали пикеты. Но будет ли толк? Насчет захоронения ядерных отходов немцы тоже давно шумят. Всякий раз, если материал готов к перевозке. Когда-то транспортники-утилизаторы подыскали местечко в краях, где во времена царя Гороха полабские славяне жили. Мотивируя тем, что именно в этом углу медвежьим был обнаружен подземный пласт соли. Пресловутый соляной купол, пригодный для того, чтобы радиоактивную жуть изолировать. Как нарочно, кусочек лесистый вторгался маленьким аппендиксом в тогдашнюю ГДР. К северо-западу от Берлина. Вполне себе провокация, причем двойная. В начале восьмидесятых борцы с такими планами, с наме-

ченным могильником разбили табор в урочище и даже новое государство провозгласили – РСВ, Республику Свободный Вендланд. Дабы отбить у утилизаторов охоту к транспортировке. И где она теперь, эта РСВ? След простыл. Да, неугомонный народ периодически ложится на рельсы, чтобы остановить мусорный экспресс. Однако тут иной тупик получился: атомный дрек везут по-прежнему.

Пора брать пример с певцов, счастливцев, еврейских цадиков и часовщиков. Жить просто. Ориентироваться по звездам. Не наблюдать ни фриков, ни поездов, ни цветочников, ни раздачи булок. На часы смотреть только в случае ремонтной необходимости – когда в Кремль вызовут, чинить куранты. А если очень припечет и приспичит, спич толкнуть, допросить двух кошерных свидетелей в синедрионе, в том самом суде, не начался ли новый месяц. Синедриону кое-что позволено. Уточнить, как там обстоит с Луной. Вышли ли вовремя на балкон очевидцы, заметили ли ее рождение. Эге-гей, очевидцы! Что скажете? Не рассмотрели, не поняли, темно было? Лилит. Лишь отражает, сама не светит. Так чиркнули бы спичкой, чтобы поджечь пыльную пепельницу. И выяснили, что происходит с календарём. Какие милые у нас? Да вот такие. На базаре не выбирали, но милыми провозгласили. Невзначай подвернулись. Сезоны и лилейные души – вещи схожие. На выходе из скользкой зимы мы подвернули ногу, не успели оглянуться, а на дворе вирус но-

воиспеченный. Или безбашенный, бесшабашный и лживый апрель. Хотя почему бесшабашный? Шабаш есть, ночной – в канун маевки. Все тот же Белтайн. Клубы закроют, а на Вальпургиеву, глядишь, разрешение выдадут, чтобы не нарушать право на проведение демонстраций. Пока суть да дело – урочный час для выхода на балкон – поиграть, подудеть для соседей. Потом из Египта. Пока Белтайн не нагрянул. И вирус не обнаглел. Летом слишком жарко, однако нонче – самое то. Егорий главный – тоже весенний. Другие не при делах, обаче нас предупредили.

Перейдем от общего к частному, зададим более легкий вопрос. Что сегодня за день? По календарю Хуучина Зальтая, мастера Нууца. Суббота? Суббота – очаровательное понятие. И относительное. Зависит от того, где находится солнце в тот или иной момент. Умножим же очарование, продлим, превратим субботу в саббатикал. Шабаш поддерживать ни к чему. И не забудем, что другие дни тоже важны. Раньше или позже на нас обрушатся. Улита едет – компенсатор силы у заводной пружины в часах. Развивающейся в оптимальный период. Например, в четверг Моисей поднялся на гору, в понедельник спустился. А для нового дела лучше подходит вторник, ибо господь именно во вторник обнаружил, как прекрасен этот мир. Который мы испоганили, костерим на все лады и не знаем, как исправить. Ждем взрыва.

Ход замедляет только реверсивная защелка. Ослабляет натяжение.

Катя Капович /Нью-Йорк/



* * *

Когда встаёшь среди темноты —
воды попить, принять таблетку —
с вещами больше не на «ты»,
то это возраст, годы, детка.

Не понимает молодёжь:

встал человек и трёт макушку.
И мать в потёмках позовёшь,
и детства первую подружку.

Жить неуютно наяву,
как пузырьёк искать без света.
А то отца ещё зову
стрельнуть – ну, это – сигарету.

* * *

Вместе с нами в поговорку
несколько вещей войдёт:
жить в России надо долго,
красота весь мир спасёт.

Тени исчезают в полдень,
жизнь – билет в один конец,
утром выпил – день свободен,
водка любит огурец.

У властей свинячье рыло.
Пушкин был большой поэт.
«Что пройдёт, то станет мило», —
он сказал и умер вслед.

И кого остановила
красота стихов его,
музыка, большая сила.
В этом мире никого.

* * *

На восточном базаре купила я питу,
сколько всякого разного в питу набито:
сладкий лук, помидор, белый хумус, фалафель
и горячего соуса несколько капель.

Мне восточный базар почему-то всё снится,
с золотыми глазами краса-продавщица,
незнакомые лица, весёлый прилавок —
видно, создана я для подобных приманок.

Солнце в голову, много горячего пыла...
Я брела к остановке, с собой говорила,
всё оглядывалась на цветной околоток.
А теперь я скажу, утерев подбородок.

Если между ладошками белого хлеба
всё вместилось так чётко и великолепно,
может, мир нам сложить на земном этом шаре,
как хорошую питу на жарком базаре.

* * *

Мы так разъезжались: хлебнули по стопке,
помыли полы в опустевшем доме,
оставили чайник, кастрюли на бровке,
сказали: «А вдруг пригодится кому?»
Молчали в усталости жаркого полдня,
давнишние письма делили в конце.
Бил колокол на невысокой часовне
сушилось бельё на соседском крыльце.
Последнее – в памяти прожитой жизни,
как будто бы в доме, идущем на слом, —
наш двор, где летают бумажные письма,
где мы напоследок с тобою вдвоем.

* * *

Среди кривых расшатанных осин
клин вышибали – лишь забили глубже,
жгли молодости быстрый керосин —
какое счастье было в этой чуши!
Купили как-то старый драндулет
на общие семейные финансы,

его нам продал пьяница-сосед,
сказал: «Иду в лечебницу сдаваться!»
Сначала не работал дуралей,
но что-то привинтили, прикрутили,
поддали, чтобы было веселей,
и затрещал мотор в автомобиле.
И в нашей тусклой жизни без всего
в тот вечер подобра и поздорову
имели счастье, верили в него
в прокуренной хрущёвке Кишинева.

Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Здесь фонари похожи на вопросы
среди французских выгнутых оград,
у путника очки съезжают с носа
и мысли набегают невпопад.

От русских узнаваемых фамилий
становится на сердце горячо.

Кем они были, где и как служили,
что вспоминали, говорили что?

Каким их ветром занесло далёко,
холодным, тёмным, северным сюда?

Фигура чуть растерянного Бога
разводит лишь руками у креста.

Несли их войны, словно злые крылья
безумных мельниц, разметая всех.

А вон Ивана Бунина могила
с цветами и колосьями поверх.

Видна вдали обычная часовня,
деревьев разноцветные верхи —
что Бунин так любил немногословно
и прятал в суховатые стихи.

Он о высоком мог сказать с прохладой,
о русского снеге грезил до конца.

Храни сент-жневьевская ограда
в своих объятых лёгкого жильца!

* * *

А ведь было на нашем веку это всё-таки:
перестроечные и полночный «Агдам»,
что-то свежее носится в уличном воздухе,
и амнистии множатся по городам.

И свобода приходит в расцветшие скверики,
и выходит Улисса большой перевод,
пароходы плывут по высокой Москве-реке,
возвращается Сахаров из несвобод.

Возвращаются частная собственность. В частности,
возвращаются улицам их имена.
Комитет государственной безопасности
обещает, однако, вернуть времена.

Почему-то в России всё бедами мазано,
всё кончается лесом предательских рук.
О свободе в отчизне потомкам расскажем мы:
«Это было красиво и кончилось вдруг».

Жизнь моего приятеля

О жизни рассказать бы мог пустяк,
в альбоме старый снимок – четверть века.
Вельветовые брюки и пиджак
дают понять нам в целом человека.

Его любила женщина одна,
весёлый независимый характер,
густых волос упрямая волна.
Потом её увел один приятель.

Просил её вернуться, всё простить,
послал письмом два общих снимка даже,
ответа ждал. А что простить – спросить?
Как возвратиться к прошлому пейзажу?

И он, как жил когда-то, так и жил.
Жил в городе зимой, с весны – на даче,
где пола подгнивающий настил
пел что-то на два голоса, чудача.

Перемостил простой дощатый пол,
покрасил стены и забор наладил,
ходил с корзинкой в невысокий бор,
и что-то вдруг о радости заладил.

С какой, однако, радости бы вдруг,
когда он жил один в глухой деревне?
О радости, не покладая рук
сажать кусты, окучивать деревья.

Ни женщина призывам не вняла,
ни дети, недоверчивые к слову,
а радость вот поверила, пришла,
ведь кто-то должен приходить по зову.

Воспоминание

В пишмашинке стихи, полустёртая лента —
было дело, и дело водило студентку,
пусть не в ад, а в предбанник его, в кабинеты,
чтобы в тех кабинетах продолжить беседы.

Мне гэбист на допросе цитировал Бродского.
Ничего не видала я более скользкого,
чем спокойный гэбист, задушевно и просто
мне цитировавший: «Ни страны, ни погоста».

Дорогие друзья и коллеги-поэты,
я бы русский забыла бы только за это,
чтоб не знать, как махровый работничек ада
увлекается первым пером самиздата.

Стол, два стула. Пикирует муха на лысину.
Ощущенье, что высекли, близкое к истине.
Было мне восемнадцать бессмысленных лет,
было радостно выйти оттуда на свет.

Счастье

Многие зимы вам, многие лета!
Я отвалю на гудящий вокзал,
в тамбуре жизни зажгу сигарету —
эй, суховей, поворачивай вал.

Только однажды случится неожиданно —
сердце припомнит свои берега?
Где-то в Америке у океана
всех-всех окликнет душа-пустельга.

Мать и отца возле детства на страже,
верных друзей из расплывчатых лет,
даже того гармониста на пляже
с грудью в медалях и шапкой монет.

Многое вспомнится. Ухнем с размаху
в семидесятые – полный прогон:
из сухофруктов компота добавки
и потихоньку играет гормон.

Вспомнится снежное утро с портфелем,
с инициалами торба в руке,
век не забыть, как заклеила клеем
белую стрелку на чёрном чулке.

Хлебом единым корми нас, о Боже,
старую песню играй, гармонист!
Счастье всегда – раздувная гармошка,
счастьице, счастье, лирический свист.

* * *

«Перестаньте, пожалуйста, ныть!
Что вы ноете? Слышат вас дети!
Потрудитесь вы тут не курить,
лучше медикаменты попейте!
Что вы, право, лежите весь день
на диване бесформенным телом
и с такой головой набекрень,
не служа молодежи примером?»

Раздаются всё чаще вокруг
эти возгласы, полны волненья,
от коллег, и друзей, и подруг,
министерства здравоохраненья.
Позитивный сосед-инвалид
с половиною мозга Петренко
костылями мне в стенку стучит,
а моя на диване лежит
и рифмует: «Петренко-говненко».

* * *

Не Герцен ли итог подвёл?
Он фразу произнёс чеканно:
«Мы вовсе не врачи. Мы – боль!»
И умотал в Европу рано.

Но слово ведь – не воробей,
и на мякине не поймаешь.
Глядишь, выходит из дверей
неолитический товарищ.

Он исподлобья в мир глядит,
как будто в мусорную яму.
Так ковыляет инвалид
всегда чуть косо, а не прямо.

Ах, Александр Иванович, голь
мы перекатная по свету —
стихи, нервишки, алкоголь.
Так и живём. Другого нету.

* * *

Так проснётся, чтоб снова рукою коснуться
дорогого, родного лица!

Снова в кухне летают тарелки и блюда,
тостер сушит два белых хлеба.

Мелет чушь электрическая кофемолка,
кофеварка бурчит. Вьётся дым.

Мир задолго до нас и останется долго.

Надо жить по законам простым.

Повоюем на кухне на полную силу,

ты мне слово, а я тебе – два

И помиримся, кофе попью. Ну, вспыхнула.

Это счастье и есть? Нет и да.

* * *

В желтизну эмигрантских газет
я внесла свою лепту, ей-богу,
на последних страницах тех лет
вдохновенной статьёй некролога.

Там, свои поправляя дела,
отпевала я чью-нибудь душу,
невесёлую службу несла —
сорок баксов, и выйдешь наружу.

И ещё сочинишь много строк,
даже станешь слегка знаменита,
но пределом мечты – некролог
и покойник, не вяжущий лыка.
Борзописец такой же, как я,
как умру, то не надо мне стансов,
напиши некролог спохмела,
напиши некролог в сорок баксов.

* * *

Этой ночью кончились сигареты.
Вот иду на улицу – может, кто-то
с сигаретой пройдет переулком света.
И полночи около перехода
ошиваюсь, каменную скамейку
обживаю. Время плетётся длинно:
фонари и звезды, на батарееке
телефон. Апрельская ночь пустынна.
Человек из времени, где проулочек
означал прохожего с полувзгляда,
улыбаюсь – в куртке нашла окурочек!
Мне так мало ночью для счастья надо.



На телеге еду, вверх смотрю
сквозь лепные облака на солнце
в самом лучшем солнечном краю —
может быть, ещё туда вернёмся?
Там в большом июне дрозд певуч
над зубчатыми колами сада.
Память-попрошайка ищет ключ:
«Ты не знаешь ли туда возврата?»
Хорошо бы провести осмотр
огорода, сада старых яблонь,
дымом окурить их от щедрот.
Ты хоть помнишь запах? Нет, не ладан.
От кострища дым валил в луга,
дрозд стремглав летел над частоколом.
Жизнь прошла, и вся тут недолга —
уходя замечу не с укором.

Сергей Королёв /Аугсбург/



Четвертый архив

I

Чертенюк седьмого порядка Микитка ловко прихватил Сан Саныча за локоть и потащил вдоль унылых коридоров канцелярии. Полы в здании были выложены старым истертым паркетом. Местами плиток не доставало целиком, местами они были сколоты наполовину. Краска служебного светло-зеленого оттенка шелушилась и обнажала реликтовые слои предыдущего колера. Серая от старости штукатурка осыпалась, стыдливо оставляя толстый слой пыли на подоконниках. Адская канцелярия была местом обжитым, домашнему уютным, однако здесь добрую тысячу лет шел ремонт, на завершение которого уже никто не надеялся.

Микитка, долговязый черт с облезлым, праздно болтающимся хвостом и прыщавой физиономией, чем-то походил на гимназиста-переростка.

– Какие люди хаживали по этим коридорам, какие люди!.. – тараторил он. – Один Ошо чего стоил!.. Мощный был старик! Направо, пожалуйста.

Сан Саныч повернул направо. Из ближайшего кабинета раздался рык и повалили клубы дыма.

– Фаина Иннокентьевна, сколько раз можно повторять,

здесь не институт благородных девиц! На работу будьте любезны являться голой! – ревел демон-полуволок и судорожно чесал задней лапой за ухом. – Вы же не по благу сюда попали! У вас в лучшие времена, помимо мужа, до трех любовников водилось! Это не считая мелких связей без видимой сексуальной ориентации. Кого вы стесняетесь?

– Не могу я, Амон Викторович, не могу. Вас я душой и телом люблю, – голосила Фаина Иннокентьевна и почесывала Амону Вик торовичу хребет, – но посетители ваши – сущий кошмар! Они воняют! Как можно в этой вони голой сидеть! Я женщина! Скажите им, чтобы одеколоном пользовались!

– Вы, Фаина Иннокентьевна, не женщина, а дитя малое! – завыл Амон Викторович и лизнул Фаине Иннокентьевне ногу. – Это же ад! Ад! Понимаете?.. А посетители мои – демоны! Они должны плохо пахнуть. У них работа такая!

Сан Саныч невозмутимо шагал мимо кабинетов, слушая беспечную болтовню Микитки.

– А римских Пап сколько тут побывало? Уж никак не менее двух сотен! И каждый Папа – глыба! История в лицах! Теперь в лифт, будьте любезны.

Сан Саныч вошел в лифт. Настенные канделябры в виде драконов держались на честном слове. Позолота на подсвечниках облетела, лампочки электрических свечей почернели от копоти, но одна всё же горела. Микитка нажал подземный 82-й этаж и продолжил:

– В этом лифте я сопровождал саму Елену Петровну Бла-

ватскую! Какая женщина!.. Её все чины вплоть до второго порядка боялись! А патриархи! Патриархи!.. Грозные люди! Один до того лютый попался, что вот этим канделябром чуть было мне череп не раскроил. Я ему: «Вам к Маммоне Валентиновичу. Он у нас мздоимцами заведует». А он мне: «Изыди, нечисть! Убью!» И за канделябр! Да, вот и приехали. Ваша дверь вторая налево. Всего хорошего.

Слева от лифта находился кабинет номер 666/4. Табличка на обшарпанной темно-коричневой двери гласила «Зав. архивом сектор 4. С.А. Анненберг». Сан Саныч постучал и, не дожидаясь разрешения, вошел. В небогато обставленном кабинете за массивным деревянным столом сидел бес четвертого порядка Самуил Апполионович Анненберг. В бесе не было ничего бесовского. Он был похож на обычного служащего, и разве что копыта, торчавшие из-под стола, выдавали его происхождение.

– Садитесь, милейший Сан Саныч. Садитесь и выпейте со мной чаю.

Бес тяжело поднялся, потер затекшие ноги, снял с верхней полки шкафа папку и бросил её на стол. Папка выстрелила пылью в душное пространство кабинета. Самуил Апполионович порылся в столе, выудил коробку с чаем, поднял трубку телефона и сказал:

– Зиночка, принесите кипятку, пожалуйста, – и тут же обратился к Сан Санычу: – Любезный Сан Саныч, как вы уже догадались, мы находимся в канцелярии исправительно-тру-

дового учреждения, которое на Земле носит условное название «ад».

На слове «ад» бес сорвался на рев, но быстро опомнился и ласково продолжил:

– Давайте будем откровенны, Сан Саныч, вы ведь понятия не имеете, зачем вас сюда пригласили.

Сан Саныч действительно не имел понятия. Он занимался управлением технологическими проектами в крупной строительной компании. «Может, надо стены покрасить или паркет переложить. Ремонт тут не помешал бы...» – подумал он.

– Зря теряетесь в догадках, дорогой Сан Саныч. Не нужно торопить события. Всему свой черед.

Самуил Апполионович взмахнул хвостом, и в тот же миг, как по мановению волшебной палочки, в кабинете появилась Зиновья – женщина лет сорока, невысокая, крепкая, но ладно сложенная. Она была абсолютно голой, без украшений, косметики и даже заколок в густых каштановых волосах. В руках у нее был поднос. На нем стояли два стакана и миниатюрный чайничек с кипятком.

– А... – вполголоса проворчала она. – Новенький. Не ад, а дурдом, честное слово. Всяк дурак с одним вопросом: «где это я?».

– Зиновья, – скомандовал бес и ласково погладил женщину хвостом по животу, – закройте рот, а то я позову Семена Волоаковича, и он вас съест.

– Не пугайте, Самуил Апполионович, – спокойно ответи-

ла Зиночка и крепко сжала бесовский хвост. – Я пуганая! Не первый век тут работаю.

Секретарша оставила поднос на столе, прихватила какую-то папку и направилась к выходу. Самуил Апполионович тонкой струйкой цедил кипяток, провожая её нежным, полным восхищения взглядом.

– Умна, проста, чертовски обаятельна. Настоящая ведьма, – хитро подмигнул бес и продолжил: – Но вернемся к нашим баранам или, как у нас говорят, бафометкам. Прежде чем я ознакомлю вас с фронтом работ, хотелось бы получить письменное согласие. У нас, знаете ли, бюрократия почище земной. Вот тут распишитесь.

Сан Саныч взял бланк, пробежал взглядом стандартную форму рабочего договора и расписался.

– Замечательно, а теперь пройдемте, – бес указал на небольшую черную дверь.

Сан Санычу показалось, что минуту назад этой двери в кабинете не было, но он не стал любопытствовать и молча прошёл за бесом. Стаканы остались стоять на подносе. Один из них была пуст. Бес распахнул дверь в хранилище, откуда сразу же дохнуло сыростью. На конторке у входа стояла небольшая масляная лампа. Она едва освещала стеллажи, которые расходились рядами во все четыре стороны и терялись во мраке. Им не было числа. Это был адский архив, сектор 4.

– Вот, Сан Саныч, ваше рабочее место. Пересмотрите стеллажи с 82-го по 7013-й на предмет целостности и сохранности.

сти содержимого. Здесь хранятся договоры о купле-продаже душ. Все документы должны быть читаемыми, имена, фамилии не испорчены сыростью и гниением. Ваш рабочий день длится двенадцать часов с двумя перерывами. Семь и девять минут. Зажигалка на всякий случай. Пожалуйста, возьмите. Всего хорошего.

Бес протянул Сан Санычу дешевую разовую зажигалку и раскланялся. Как только он вышел, дверь тут же исчезла, но Сан Саныч этого не заметил. Он снял папку с ближайшего стеллажа и встал за конторку.

«Абсолютно не по моему профилю! Неэффективно, нерентабельно, нерационально!» – подумал он и принялся за работу.

II

Молодые люди стояли на лестничной клетке возле таблички с изображением дымящейся сигареты. Юленька, по уставу, была голой, однако, в отличие от предыдущего поколения ведьм, позволяла себе вольности и носила легкие туфли. Нет, она не боялась простудиться. Полы в преисподней были теплыми круглый год. Уж чего-чего, а жара тут хватало! Туфли стали последним писком моды, и Юленька, как молодая ведьма, которая делала стремительную карьеру в адской канцелярии, считала своим долгом следить за подобными мелочами.

Миша носил гавайскую рубашку с пальмами, заправленную в широкие клетчатые бермуды, пошитые на манер колониальных. Пляжная одежда частично избавляла его от жары и не стесняла движений. Должность координатора в транспортном отделе, на которую он поступил несколько месяцев назад, давалась ему с трудом. Нагрузка в текущем квартале выдалась такая, что даже бывалые грузчики кряхтели, а Миша не блистал физическими данными. Его комплекция больше располагала к размеренной работе в бухгалтерии, нежели чем к трудам на передовой у транспортников.

Вверх по лестнице спешил чертенок. Он остановился возле молодых людей и запричитал:

– Семен Волоакович опять разнервничались и дыхнули на посетителя пламенем. Посетитель в пепел, в кабинете пожар, в канцелярии скандал!..

Молодые люди остались безучастными к бедам чертенка. Они прекрасно знали начальника отдела кадров Семена Волоаковича Винного. Он имел привычку, будучи в скверном расположении духа, изрыгать пламя левой пастью, а в особо тяжелых случаях – одновременно тремя. Пожар потушат, в помещении приберут, Семена Волоаковича вызовут на ковер и лишат премиальных. Да ему-то что? Он в аду с тех времен, когда Коцит был солнечным курортом.

Чертенок, не дождавшись сочувствия, побежал дальше, и Миша, наконец, решил объясниться:

– Юля, я давно хотел с вами поговорить.

Юленька запрыгнула на подоконник, одну ногу свесила вниз, а вторую прижала к себе и манерно сложила руки на колене:

– Я вас внимательно слушаю, Михаил.

Миша смутился, щеки его порозовели, и, чтобы скрыть юношескую застенчивость, он стал шарить по карманам в поисках сигарет. Сам Миша не курил, но всегда держал при себе пачку для Юленьки. Пачка упала на пол, Миша наклонился поднять ее и украдкой бросил взгляд на ведьму. Она беззаботно смотрела в потолок, слегка покачивая ногой. Мише показалось, что температура его щек становится огнеопасной. Он вскочил, протянул сигареты и выпалил, как на плацу:

– Юля, милая Юля, я давно хотел вам сказать, я очень давно хотел вам сказать – я люблю вас и хочу на вас жениться.

Юленька с ногами забралась на просторный подоконник, села к Мише боком и закурила.

– То-то, смотрю, ты такой официальный. Прямо как у их темнейшества на приеме! – сказала она весело. – Так ты жениться надумал!

Миша не мог найти себе места. Он не знал, куда девать свой наивный, полный щенячьей преданности взгляд. За окном гора Гекла извергала очередную порцию дыма. На площади перед зданием черти загружали фуру туго связанными пачками бумаги. Четвертый архив переезжал в новый корпус. Возле памятника их темнейшеству губернатору объеди-

ненных кругов ада Сатане, сидела канцелярская братия. Памятник был излюбленным местом обеденного перерыва. Он располагался посреди небольшого бассейна и был окружен скульптурами василисков, изрыгавшими фонтаны темно-бу-рой мученической крови.

«Повсюду кровища! Провалиться хочется!» – подумал Миша, глядя на фонтан.

– Миш, – сказала ведьма и затушила сигарету, – я не буду над тобой подшучивать или, хуже того, издеваться. Но я тебя очень прошу – оставь эти глупости про свадьбу. Выставят на посмешище, потом двести лет покоя не дадут.

– А чего я сказал-то? – пробурчал сконфуженный Миша.

– Ты, Миш, ничего не сказал, а я ничего не слышала, – строго ответила Юленька, спрыгнула с подоконника и перед уходом добавила: – Вечером после смены зайди. Поболтаем.

Неопытные черти принимали белокурую Юленьку за существо небесное и даже обходили стороной, опасаясь, как бы не вышло добра. Юленьке достался облик образцовой святой. Кто бы мог подумать, что однажды в ней откроется дикая страсть к любовным интригам. Эта страсть привела к отравлению, жертвой которого стала она сама. После смерти её определили в адскую канцелярию, где молодую грешницу заприметил очень высокопоставленный бес. Че рез десять лет она показала прекрасные результаты и сдала экзамен на ведьму. По адским меркам, Юленька была молодым сотрудником. В канцелярии служили ведьмы со стажем в две

тысячи и более лет. Что такое несчастные семь десятков, когда рядом с тобой ровесницы римских императоров!.. Юной ведьме не хватало выдержки и дисциплинированности, однако заводной, разгульный характер не мешал смотреть на жизнь прагматично. Она знала меру распутству, что в преисподней было крайне ценным качеством. Работа её вполне устраивала, отношения с коллективом – тоже. Умеренный, но регулярный разврат и полная рабочая занятость шли на пользу её подвижному уму и неугомонному характеру. Карьера стремительно летела вверх, хотя карьеристкой Юленька не являлась. Она просто делала то, что любила, и делала это хорошо.

Юленька умела заводить перспективные знакомства и, даже будучи страстно влюбленной в очередного чертенка, не теряла головы. Незадолго до знакомства с Мишей она увлеклась следователем из службы безопасности. Представительный, неглупый, с хорошо подвешенным языком, он резко шел в гору. Поговаривали, что он станет самым молодым бесом, сдавшим экзамены на четвертый порядок. Юленька была в восторге от его харизмы и немедленно бросила одного милого, но бесхарактерного клерка. Отношения развивались стремительно. Казалось, от страсти Юленька сошла с ума. Она была на взводе, хохотала, болтала без умолку, опаздывала на работу, словом, вела себя, как типичная влюбленная дура. По канцелярии поползли слухи, что ведьма пьёт приворотные зелья. Начальство забеспокоилось. На Юлень-

ку посмотрели с осторожностью. И тут без видимых причин произошел разрыв. Во всем, что касается личной жизни, Юленька умела держать язык за зубами, но для канцелярских сплетников не существовало тайн. Вскоре стали известны подробности. Оказалось, юный следователь водил знакомства с неблагонадежным элементом. Контрабандные напитки из рая, открытки с ангелами, райская музыка, поэзия, живопись – всё это находилось под строгим запретом. По долгу службы следователь имел неограниченный доступ к такого рода материалам, что оказалось губительным соблазном. Через полгода он загремел в девятый круг и сгинул там, среди зверских порядков нижнего ада. А что Юленька? Она не моргнула и глазом. Ни слёз. Ни вздохов. Ни капли сожаления. Вот такой характер.

В канцелярии трудились не покладая рук. Низшие чины и непосвященные по двенадцать часов, ведьмы и средние чины – по девять, у высших график был ненормированный. Миша принадлежал к непосвященным, к тому же транспортный находился в непрерывном аврале. К привычным курьерским заботам добавился переезд четвертого архива. Иногда пересменки сокращались до двух часов. Сегодня выдался именно такой день. Секретарша Лидия Петровна с утра потчевала Мишу снадобьем из волшебного чабреца, который ей привозили по знакомству из Лимба, и Миша худо-бедно держался на ногах.

Под конец смены Лидия Петровна перехватила его у входа

в отдел и ласково сказала:

– Мишенька, отвлекитесь немного. Вы заработались. Отдохните!

Миша был очарован Лидией Петровной, тонким ароматом её волос, её бархатной кожей, морщинками в уголках глаз, великолепной фигурой. Он взглянул на секретаршу с восхищением, поцеловал руку и присел было рядом, чтобы передохнуть, но вспомнил о встрече с Юленькой.

– Лидия Петровна, чуть не забыл! У меня встреча! Убегаю! Улетаю! – взволнованно крикнул он и бросился к выходу.

– Ах, Миша, Миша, – прошептала Лидия Петровна, – долетаетесь!..

Миша всего два года летал по канцелярии, но местная братия давно привыкла к его кудрявой угольно-черной шевелюре, басыщему голоску и неуклюжей походке. Поначалу он натворил немало глупостей. В первый рабочий день Миша крикнул ведьме-вахтерше: «Дай вам Бог здоровья!». С тех пор, едва завидев юношу, ведьма с ужасом пряталась в гардеробной. Вскоре ему поручили доставить срочное письмо на имя главы канцелярии. Он торжественно вошел в кабинет, где шло плановое совещание, и с достоинством дворцового английской королевы произнес: «Вам письмо!». Сослуживцы долго смеялись над этим случаем, а молодые чертенята за глаза прозвали его «Миша – вам письмо». Невероятные приключения длились до тех пор, пока Миша не застрял в лиф-

те с инспектором технадзора. Юноша хотел доказать почтенному демону, что, несмотря на внешнюю ветхость, в канцелярии крепкая техника. Он подпрыгнул, и лифт тут же замер. Терпение начальства было исчерпано! Мишу попросили впредь пользоваться только лестницами, что для посыльного это было суровым наказанием. Он осознал результаты своей разрушительной деятельности, однако унывать не стал и носился по зданию как угорелый, пока его старания не были вознаграждены. Мише предложили место координатора. Теперь в его обязанности входил переезд четвертого архива. Он понимал всю сложность возложенной на него миссии и старался максимально соответствовать занимаемому посту, то есть самозабвенно, по-детски, важничал и строил из себя крупного начальника, чем немало веселил старожилов.

Миша заглянул в отдел снабжения. Служащие уже разошлись, но в приемной горел свет. Обнаженная по пояс Юленька стояла возле окна и просматривала свежееотпечатанный бланк. На ней была прозрачная шелковая юбка зеленого цвета, в руках она держала легкую бежевую майку.

Нижнее белье в аду носили редко и только в специальных случаях. На ежегодное выступление их темнейшества, правителя шестого круга, мэра города Дита Сатьяна Мегидовича Фораса, знатным бесам и демонам полагалось надевать трусы с регалиями, а ведьмам и демонессам – специальные праздничные бюстгальтеры с эмблемами адских цехов.

Юленька убрала бланк в стол, накинула майку на голое

тело и наконец заметила Мишу.

– А, Миша! – крикнула она. – Пришел! Давай спустимся в сад. Я ужасно проголодалась. Там киоск с эклерами и музыка. Ты любишь эклеры и музыку?

– Нет, я вообще не люблю сладкое, – соврал Миша, чтобы выглядеть взрослее.

– А музыку? – спросила Юленька и, не дождавшись ответа, продолжила: – Сегодня в саду Майлз Дэвис. Он невероятный! Просто невероятный!.. Как я счастлива, что он попал в ад!

Они спустились на первый этаж, вышли через восточный портал и повернули налево, в располагавшийся при канцелярии сад. Брусчатку, или тем более, асфальт, в аду не использовали. Камни нагревались так, что ходить босиком становилось неприятно. Асфальт же просто плавился. Горячая и сухая земля преисподней была покрыта мелким, красноватого оттенка, песком. В саду среди цератоний, под огромным испанским каштаном стоял деревянный помост. Слабое освещение, расположенное у сцены, немного разгоняло мрак, но в глубине было темно, и тонкие лучи прожекторов, словно разбрызганная по неосторожности краска, чередовались с густыми кляксами теней. Оркестр уже начал. Юленька взяла эклер и горячий шоколад, Миша – кофе. Публика прибывала, однако молодые люди успели занять место в дальнем углу.

– Обожаю запах каштана! – сказала Юленька и откусила

эклер. – Миш, скажи, ты помнишь, как сюда попал?

– Нет, – печально ответил Миша.

– А чем ты занят, можешь рассказать?

– Это пожалуйста, – повеселел Миша и, заметно важничая, произнес: – Сейчас я в транспортном. Бес ты или человек, а транспорт всюду нужен. Работы море! Еле справляемся! Предыдущий координатор развалил всё до основания. Руки ему оторвать мало!..

– Значит, как сюда попал, ты не помнишь, – сделала заключение Юленька, – однако, чем занят, знаешь.

– Ну да, – неуверенно подтвердил Миша.

– Поэтому ты называешься полусознательный из касты непосвященных, – сказала Юленька и, поджав губы, сделала маленький глоток шоколада.

– Не понял! – Миша отхлебнул кофе и едва заметно поморщился. Сахар в кофе он не положил для пущей суровости. – И как же мне стать сознательным?

– Ответить на вопрос, кто ты и почему ты здесь.

– Проще простого! – воскликнул Миша. – Это я могу у Семена Волоаковича в отделе кадров узнать!

– Во-первых, не спеши узнавать, – сказала Юленька и кончиком языка слизнула крем с эклера. – Умножая знания, умножаешь скорбь, а здесь её и так хватает. Некоторые веками ходят в полусознательных, и ничего. Во-вторых, Семен Волоакович правду не скажет и, возможно, даже откусит голову. Личные данные служащих засекречены. Доступ к ним

открыт только демонам высших порядков.

– Ясно! Я жизнь отдал транспортному, а меня будут тысячу лет держать в полусознательных! – пафосно воскликнул Миша.

– Жизнь ты отдал немного раньше, но «о, сколько нам открытий чудных...» – с усмешкой процитировала Юленька и продолжила: – Теперь о том, как это пересекается с предложением руки и сердца. Браки в аду разрешены только порядкам не ниже четвертого, и только в исключительных случаях. Например, в церемониальных целях. В сущности, никакие это не браки, а бесовско-ведьминские тандемы. И, уж конечно, ничего близкого к привычному пониманию семьи в них нет. Звучали, и не раз, предложения ввести институт брака для усовершенствования контроля над грешниками, да только не жалуют у нас реформаторов. Покричали и забыли.

– Глупость! – возмущенно сказал Миша. – А как же продление рода!.. Потомство!..

– Мишенька, дорогой, – взмолилась Юленька. – Это ад! Какое продление рода?.. Рождаются и умирают на Земле. В аду живут и работают. Я видела, как доставляют удовольствие женам демоны первого порядка. Это было на ежегодной мессе посвящения в ведьмы. После официальной части накрыли столы, был праздничный банкет и оргия. Приемы, которыми там пользовались, не то что с продлением рода, но и с земной жизнью не очень совместимы.

– И как же мне быть? – печально спросил Миша. – Я люб-

лю тебя.

– А чего тебе от меня надо? – спросила Юленька и откусила от эклера. – Близости? Так зачем жениться?

– Ну, свадьба – какие-никакие гарантии! – пробормотал Миша.

– Опять ты забыл, что тут ад, а не Земля. Это на Земле, в рамках хрупкой, коротенькой жизни, всякий норовит вытребовать гарантии, а в аду гарантировано только одно – мы здесь навечно! Поэтому оставь мелкопоместный эгоцентризм. Хочешь владеть – владей, – Юленька положила ноги Мише на колени. – Но гарантий не требуй!

– Нет, ты не поняла! – возразил Миша и решительно добавил: – Я не всякий, и я хочу, чтобы ты принадлежала только мне!

– Вот-вот, рабовладельческий строй! – раздраженно заметила Юленька и убрала ноги. – Ты пойми, ни в аду, ни в раю, ни на Земле души не могут принадлежать друг другу. У души нет такого места, которым она могла бы кому-то принадлежать. Ну и потом, у меня есть партнер.

– Я убью этого «партнера». Вызову на дуэль и застрелю! – решительно сказал Миша, а потом добавил неуверенно: – Или шпагой проткну.

Слово «партнер» он произнес с таким отвращением, что Юленька испугалась – не натворит ли мальчишка глупостей. Откуда ей было знать, что Миша сделал очередной глоток ненавистного горького кофе.

– Ты не кричи. Здесь за такие шутки знаешь, что бывает? Глазом не успеешь моргнуть, как отправят в нижние круги, – строго сказала ведьма.

– Наплевать! – храбрился Миша. – Ради любви и не такое терпят!

– Дурак ты, Миша, – огорченно заметила Юленька. – В аду никакой любви нет и быть не может. В аду отношения.

Миша обиделся на «дурака». Он пил кофе и страдал. А Юленьке было не до него. Она увлеченно смотрела выступление. Труба виртуоза звучала невероятно. Правильно было бы сказать, что она звучала божественно, если бы адский комитет по культуре не считал музыку Майлза Дэвиса образцовым примером бесовщины. Маэстро то опрокидывал слушателя в хаос диссонансных нот и запутанных прогрессий, то убаюкивал нежными лирическими мелодиями, а то и вовсе пугал длинными многозначительными паузами. Миша не слушал. Он был погружен в свои обиды. Наконец, он не выдержал и убежал.

На улице царил обычная суета. Легкие подземные толчки сотрясали сухую, горячую землю ада. Миша отправился к церкви святого ересиарха Нестора, где он часто прогуливался после напряженного рабочего дня. Он спешил раствориться в толпах паломников, затеряться среди бродячих музыкантов, попрошайек, проповедников, прочего сброда. Здесь он прятался от неизвестности, окружавшей его с первых дней пребывания в преисподней. У него накопилась

масса вопросов. Кем он был? Что натворил? Что ждет впереди? Увы, ответов никто не давал. Старшие чины ухмылялись и кормили отговорками «погоди, всему свое время». Младшие вовсе предпочитали сменить тему. Будущего у Миши не было, а прошлое он не помнил. И чем больше он размышлял об этом, тем глубже погружался в отчуждение.

Церковь святого ересиарха Нестора, огромное сооружение высотой в сто тридцать два метра, была выполнена в готическом стиле. Над стрельчатыми арками, обрамлявшими широкие галереи, возвышались фигуры великих демонов и ересиархов. По стандартам адского строительства, максимальная высота в пределах шестого круга была превышена на два метра, но всё же церкви было далеко до эбонитового трона, возведенного по приказу Сатаны к двадцатитысячному юбилею ада и установленного в девятом круге. Этот монумент более чем на километр возвышался над заснеженной пустыней Коцита.

Ад имел конусообразную форму. Нижние круги были значительно просторнее верхних, и потому правила застройки низов ничем не ограничивали безумную фантазию архитекторов. Там прославляли величие зла гигантскими стройками, на которых отбывали бесконечные сроки тысячи мучеников. Это был совершенно другой, не похожий на верхние круги ад. Жестокий, безысходный и могущественный.

Недалеко от центрального портала под барельефом, изображавшим костры инквизиции и кровавых рыцарей-кресто-

носцев, сидел нищий. Он расположился в стороне от прожекторов, освещавших церковь в выгодном для туристов плане, но всё же так удачно, что меркурии и другая мелкая монета частенько падали в его шляпу. Нищий – крепкий мужчина преклонного возраста, был одет в рваный заношенный пурпурен красного бархата и двухцветные шоссы. Правая их штанина была черной, а левая, некогда белая, представляла собой грязную бесцветную тряпку. Перед ним стояла табличка: «Погибал в Баб-Эль-Мандебском проливе». Миша бросил несколько монет и пошел дальше, но полусонный нищий внезапно оживился и вызывающе крикнул:

– *Salve e protege, salve e protege!*

– Это вы мне? – спросил Миша.

– Спаси и сохрани вас Сатана! – повторил нищий.

– Спасибо, но этой фразой обычно поминают Бога, а не их превосходительство губернатора объединенных кругов, – вежливо ответил Миша.

– Поздно поминать Бога, раз уж мы здесь! – прохрипел нищий.

Проворные чертенята-служки и чопорные, в пышных рясах, бесы-священнослужители, богатые ведьмы и знатные демонессы двигались мимо бесконечным строем. Мише стало любопытно, что за существо, безжалостно отвергнутое патриархальным обществом, скрывается под этими пыльными обносками. Что-то несуразное, возможно едва заметное несоответствие между манерой говорить и внешним видом,

привлекло его в нищем. А может быть, Миша просто хотел отвлечься от тяжелых мыслей о Юленьке. Так или иначе, он вырвался из общего потока, свернул на обочину и, ни капли не стесняясь, сел прямо в придорожную пыль.

– Я воевал за португальскую корону, – обиженно пробурчал нищий, как бы оправдывая своё положение.

В его осанке появилось нечто аристократическое. Он выпрямил спину, положил руки на колени и погрузился в сон. Несмотря на убогий вид, бродяга был на голову выше окружающих. Он держался точно капитан прекрасной каравеллы, случайно застрявшей в пыли у грязных ног бесовской братии.

– Я штурмовал Гоа и Ормуз, – добавил он.

Услышав слово «Гоа», Миша невольно вздрогнул. Единственное, что осталось ему от земной жизни – бессмысленная фраза: «Пока ты слушал Гоа, она нашла другого!».

– Я, как гончий пес, обежал полмира, вгрызаясь в жирные бока арабов и индусов, – продолжал нищий. – И теперь я здесь, сижу под этими лживыми фресками и клянчу монетку у таких, как вы.

– Кто вы? Как вас зовут? – спросил Миша.

– У меня нет имени. Я забыл его, – мрачно ответил нищий. – Впрочем, если бы и вспомнил, то не стал бы произносить. Это слишком гордое имя, чтобы оборванец вроде меня пользовался им.

Миша заметил, что рядом с нищим, под левой его рукой,

лежал клинок – богатая, изящная дага, ножны которой были инкрустированы золотыми узорами. Нищий больше не обращал на Мишу ни малейшего внимания. Но Миша и не думал уходить. Заметив драгоценное оружие, он окончательно убедился, что нищий не так прост, как кажется.

– Так вы португалец? – спросил юноша, чтобы поддержать беседу.

– Когда-то был им, – ответил нищий, не открывая глаз.

– Португалия, наверно, красивая страна, – мечтательно сказал Миша.

– Португалия – красивая страна? – переспросил нищий. – Да что эти захолустные лачуги по сравнению с величием Лиссабона!..

– Лиссабон... Как жаль, что я там не был! – подыграл Миша.

– Когда в город вернулась эскадра Васко да Гама с известием об открытии пути в Индию, – монотонно, как молитву, продолжил нищий, – на берегу среди толпы простолюдинов было больше блеска и роскоши, чем на амвонах всех церквей ада. Это было время великих открытий. Мы были молоды, честолюбивы и преданы делу.

– Какому? – вежливо поинтересовался Миша, полагая, что речь идет о профессии.

– Что значит какому? – возмутился нищий и приоткрыл один глаз. – Великому делу завоеваний!

– Преданность делу теперь не в почете, – задумчиво про-

изнес юноша. — Да и время завоеваний прошло.

— Любовь, юноша, теперь не в почете! — горько произнес нищий и открыл второй глаз. — Любовь к родине, любовь к женщине, любовь к жизни!

— Неправда! Я люблю! — признался Миша и добавил печально: — Ведьму.

— В аду нет любви, — резко оборвал его нищий. — Нет и быть не может.

— Я тут, значит, может! — возразил Миша.

— Вы молоды и мало что понимаете. Ад — коварное место, — назидательно заметил нищий.

— А вы... вы просто потеряли веру в себя! — парировал Миша, обиженным тем, что его поучают.

— Однажды, молодой человек, я перешел дорогу очень влиятельному демону, — безразлично, будто речь шла о ком-то другом, произнес нищий. — Повод был пустяковый. Я только пришел в ад и многого не знал. Он заявил, что европейцы никогда не были цивилизованными, что, несмотря на свой успех, экспансия на восток показала миру их варварское, неумытое рыло. Это был демон из пустынь Аравии. Сильный, свободный дух. Я вскипел, назвал его мерзавцем и предложил честный поединок. Меня осмеяли и вышвырнули в нижние круги. Я триста лет провел на каменоломнях Коцита, днем и ночью деревенея от холода. На мне не было ничего, кроме истлевшей туники и разбитых сандалий. И теперь вы, юноша, предлагаете мне поверить в свои силы!.. Да

что вы знаете об аде?

Нищий положил руку на плечо юноши и внезапно разгорячившись, сказал:

– Вы не такой, как все! Я вижу! У вас доброе сердце. Бегите! Бегите отсюда, пока вас не растоптали. На западе четвертого круга есть проход. Он предназначен для пилигримов. Там живет старый демон с наколкой трехглавого пса на запястье. Он выведет. Скажите только, что вас послал архитектор. Так в шутку меня звали когда-то.

– Нет, господин Архитектор, – испугавшись такой перспективы, резко ответил Миша. – Никуда я не побегу. Я люблю её, и она будет со мной, даже если все демоны ада встанут между нами.

– Тогда готовьтесь к худшему. Если вас не сотрут в порошок здесь, то это сделают в нижних кругах, – сказал нищий и потерял всякий интерес к беседе.

Миша, сконфуженный знакомством, поднялся, чтобы побыстрее скрыться в толпе. Теперь к изнуряющей неизвестности в прошлом добавилось предчувствие чего-то скверного и неотвратимого в будущем. Казалось, время душит его как удав – медленно сжимает кольца, не оставляя шансов на вдох. А глоток свежего воздуха, глоток надежды – ох как требовался.

Миша был типичным молодым энтузиастом, полным энергии, непоседливым, готовым взяться за любую работу. Однотипность задач и общая зацикленность адского суще-

ствования раздражали его. Он выдавал десятки рационализаторских предложений, но его кипучая энергия разбивалась о неприступный устав канцелярии. Мишу одергивали строгим выговором, и юноша отползал в сторону, затаив обиду. Он не признавал никакой власти, кроме той, что соответствовала его убеждениям, его логике, его стремлениям и надеждам. Канцелярское начальство чувствовало эту опасную инфантильность и держало Мишу на коротком поводке. Как бы чего не вышло!.. Такое отношение юноша считал унижительным, но открыто заявить о недовольстве боялся. Он был прекрасно знаком с адскими порядками. Выше прочего в преисподней ценили субординацию и трудолюбие. За неуважение к старшим по званию строго наказывали. Поиски правды, справедливости, возмездия приводили в кабинеты службы безопасности, а оттуда в нижние круги. Однажды у него на глазах из канцелярии вывели совсем юного чертенка. Оказалось, он грубо обошелся с кем-то по телефону. Поговаривали, что демонессой из свиты губернатора. Чертенок был избит, один рог отломан, одежда порвана. Больше его никто не видел. Лидия Петровна утверждала, что чертенок был хулиганистый, и поделом ему. Пусть сквернословит на каменоломнях девятого круга.

III

Отдельным жильем и личными пегасами в аду пользова-

лись немногие. Даже демону третьего порядка с выслугой в полторы тысячи лет было нелегко получить квартиру. В коммуналке, где сразу после смерти-приемника поселили Мишу, проживало еще четверо. Люция и Корнелий, служившие раньше в отделе по религиозному мракобесию. Отдел этот был расформирован, а старейшие его работники отправлены в бессрочный отпуск. Клава: невозможно было точно сказать, где она работает и сколько ей лет, однако развратничала она профессионально. И, наконец, средних лет безобидный чертенок седьмого порядка, церковный служака Пафнутий Пафнутьевич. Он частенько прикладывался к бутылке, но никогда не хулиганил и содержал себя в чистоте.

Адская коммуналка мало чем отличалась от земной. Сплетни, склоки и мелкие бытовые обиды переплетались с общими кухонными застольями, коллективными мероприятиями по борьбе с тараканами и дружным одобрением политики правительства. Не было разве что пресловутой борьбы за жилплощадь. Так не было и повода. Вечное существование в аду гарантировало стойкий моральный облик жильцов. Что наследовать и кому завещать, если всё необходимое дают раз и навсегда? Грешники отбывали сроки без надежд на перемены, а значит без соблазнов. Жилищный вопрос имел место, но решали его за счет безразмерных площадей нижних кругов. Они были открыты для каждого, что мотивировало обитателей Дита к образцовому поведению, и коммуналка была ярким тому примером. Сухие, чистые подвалы,

уставленные банками с маринадами и соленьями, примыкали к ухоженным лестничным клеткам, где висели графики дежурств, подписанные кровью управдома.

Миша вернулся домой позже обычного. В квартире стояла мертвая тишина. Все спали. Он с обеда ничего не ел и мышью, чтобы не разбудить соседей, прошмыгнул на кухню. Вскоре послышались шаги и как привидение, в темноте коридора возникла Люция.

– Ах, Мишенька! Это вы. Ну, как там канцелярия? – спросила она, зевая.

– Стоит на месте.

– Эх, избавились от нас, как отхлама, а ведь я помню времена, когда наш отдел был самым крупным после снабженцев.

– Снабженцы и сейчас любому фору дадут, – деловито заметил Миша и поставил чайник.

– Мишенька, вы же в транспортном работаете? С Лидией Петровной?

– Да! Точно. А вы знакомы? – удивленно спросил Миша и открыл пакет с сушками.

– Мальчик мой! В аду все друг с другом знакомы! – сказала Люция. – Я обещала Лидии Петровне рецепт пирожков. Помните? Ваши любимые.

– Да-да. С капустой, – ответил Миша и печально посмотрел на сушки.

Невысокая, полная Люция была ведьмой из тех, что везде

находят друзей, но нигде – настоящей страсти. Она не была адским существом, не прошла смерть-приемника и не переродилась в аду навечно. Люция и Корнелий были людьми – пилигримами ада. Они эмигрировали в преисподнюю по доброй воле откуда-то из-под Кёльна в те времена, когда алхимику и знахарке было сложно найти безопасное место в Европе. Супруги опасались гибели в застенках инквизиции. Мученическая смерть гарантировала им прямую путевку в рай, а это никак не входило в их планы. Однажды зимним утром 1632 года они вышли на прогулу и исчезли. Смотрящий демон проводил их до ворот ада, а далее – всё как у любого беженца. Скитания в пламенеющих пустошах, лагерь для переселенцев, легализация, а после, работа в канцелярии. В отличие от многих адских существ, они были официально женаты. Это мало что решало, но иногда экстравагантности ради супруги представлялись – Корнелий и Люция Шнапстауэр.

– Скажу по секрету, – хитро сощурившись, прошептала Люция, – в руководстве есть мнение, что наш отдел надо восстановить. Повоюем еще, а?

– Повоюете, – согласился Миша.

– Знакомый демон поведал в конфиденциальной беседе, что там, – Люция многозначительно указала рукой на запад, – очередная волна религиозного фанатизма. Так передадите рецептик?..

– Конечно, передам.

– Спасибо!

– Скажите, Люция, почему вы так хотите вернуться? – спросил Миша, помешивая сахар. – Чем дома плохо? Убейте, не пойму! Вы столько лет отдали канцелярии! Пора на покой. Дайте дорогу молодым, деятельным!

Детская непосредственность, с которой Миша, сам того не понимая, говорил гадости, не оскорбила Люцию. Она печально посмотрела на него и, перебирая воспоминания, рассеянно ответила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.